

А. Ф.
ПИСЕМСКИЙ

Избранное



Алексей Феофилактович Писемский

Взбаламученное море

Текст предоставлен правообладателем
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=660885

Аннотация

В романе показаны нигилистические попытки разрушить историческую Россию. Столкнув в этом романе представителей разных общественных сил, боровшихся друг с другом в период проведения крестьянской реформы, Писемский отдал предпочтение сторонникам идеала русской национальной самобытности, которые, по мнению писателя, сохранили «здравый смысл» и не потеряли своего лица в сложной, противоречивой действительности 60-х. Все остальное Писемский считал временным наваждением и ложью.

Содержание

Часть первая	4
1. Басардины	4
2. Вельможи-благодетели	6
3. Совсем дичь	9
4. Самец	11
5. Молодые отпрыски	13
6. Подставленная шпилька	17
7. Блаженнейшие минуты	21
8. Александр совсем на небе	25
9. Спущен на землю	30
10. Выборы	33
11. Герой теоретик, а героиня практик	35
12. Взор героя устремляется в другую сторону	38
13. На распутье	40
14. Милый мальчик	43
15. Милый мальчик у матери и он же у тетки	45
16. Причины, побудившие жениха и невесту к браку	48
17. Губернская тетеха	51
18. Сын, возвращающийся с раскаянием	54
19. Сын, еще не чувствующий никакого раскаяния	57
20. Капелька поэзии и море прозы	60
21. Невольный протест.	62
Часть вторая	66
1. Британия	66
2. Милое, но нелюбимое существо	71
3. Андреянова на московской сцене	75
Конец ознакомительного фрагмента.	77

Алексей Феофилактович Писемский

Взбаламученное море

Роман в шести частях

Часть первая

1. Басардины

По улицам и полям усадьбы Спинова мела и передувала бестолковейшая декабрьская вьюга: то зачем-то несла целое облако снегу и, выйдя за ворота, тотчас же клала его на огромный и без того сугроб; то точно сверлом сверлила и завывала в разбитое слуховое окно на барском доме, то с каким-то упорством дула в зад скотнику Климу, рубившему перед скотным двором дрова и не обращавшего на это никакого внимания. На крыльце избы стояла старуха Михайловна, и с ней ветер как-бы заигрывал, крутя и завивая ее истасканный передник.

– Чьи такие, дедушка, это проехали? – окликнула она Клима.

– Басардины, надо-быть... к тестю едут.

– И то дело. Да, да!

– На балотировку, видно, ладят, – заключил Клим.

– Да, да! – согласилась опять с этим Михайловна; а потом, о чем-то звонко вздохнув, вернулась в избу.

На Спировском поле, по переметенной и ухабистой дороге, действительно тянулся целый обоз. На передней лошади ехал молодой дворовый малый, Митька. Он сидел спокойно, как истукан, и только, когда его очень уж потряхнет в ухабе, он моргнет носом и ткнет лошадь кнутовищем, на что та обыкновенно, отмахнет ему хвостом.

В тех же санях, за спиной у Митьки, сидела горничная девица Дарья, закутанная по самый нос в какие-то лохмотья. Странное явление представляли собой эти два молодые существа: жизнь ли их очень заколотила, или их организмы, питаемые круглый год постными щами и мяканным хлебом, содержали в себе более лимфы, чем крови, но только пятидесятую версту они ехали вдвоем и во все это время хоть бы переглянулись, пошутили бы между собой, переговорили слова два-три. Митька, положительно можно сказать, даже ничего и не думал; а Дарья всю дорогу смутно соображала, куда это она положила барышникины чулки: старая барыня, как приедут на место, непременно их спросит, а она и не помнит, куда их засунула.

За передней ехал сам барин, в розвальнях, парой гусем. Заложенный у него на вынос сивый меренок, по прозванию Репейник, обнаруживал удивительное старание. Он вез, потел, обтирался и все-таки вез, как будто бы сотни начальнических глаз смотрели на него и любопытствовались его усердием, между тем как шедшая в корню сухопарая саврасая кобыла решительно парализовала все его старания. Лошадь эта, пока дорога шла еще прямая, везла кое-как; но чуть-чуть встречался крутой поворот, или надобно было обойти какую-нибудь рытвину, так сейчас же и терялась: не понимала она, как это сделать надо, или ей трудно было ладить со своим неуклюжим телом, только непременно сядет в хомут, начнет болтаться из стороны в сторону и по крайней мере с полверсты не устоит. На подобное неравенство в распределении трудов сидевший кучером задельный мужик Потап, так как настоящих дворовых кучеров уже не хватало, не обращал ни малейшего внимания: все его старание

было направлено на то, чтобы самому как-нибудь примоститься на облучке, к которому он скорее изображал собой касательную линию, чем сидящего на нем человека. Едва позабегается несколько поспокойнее, как сани занесет в его сторону, и поехал вниз; опять начнет забирать вверх, – да так всю дорогу, даже пот прошиб!

На все эти проделки с Потапом барин, мужчина с проседью, но довольно еще молодцеватый, в потертой медвежьей шубе и шапке с собачьим околышком, надетой несколько набекрень, смотрел не без удовольствия.

– Опять съехал? – говорил он, слегка улыбаясь, когда Потап, спустившись с саней до самого горла, отчаянно хватался за передок.

– Ты сиди крепче! – советовал он ему.

На все это Потап отвечал сердитым взглядом и забирался на передок почти с ногами.

Барин между тем переносил свое внимание на другие предметы.

«Ишь, как дугу-то погнуло», – думал он, глядя, как сбившаяся с панталыку коренная шла совершенно боком.

На окраине поля замелькали какие-то черные пятна.

«Кусты это или деревья, чорт знает?» – продолжает он сообщать с заметным вниманием.

«Кусты!» – решал он мысленно и самодовольно.

Налетевшая выюга заслепляла ему глаза. Он повертывался и начинал смотреть в другую сторону.

Волновали ли в настоящую минуту какие-либо иные, более серьезные мысли и более раздражительные чувствования этого, как мы увидим впоследствии, отца довольно многочисленного семейства, – мы не знаем и даже имеем все основания подозревать, что как к совершенному им теперь пути, так и вообще ко всей громаде плывущей на него жизни он относился довольно созерцательно и совершенно спокойно.

Ехавшая за розвальнями тройка, в крытых санях, представляла собой гораздо больший порядок: лошади все в ней были одной масти, коренная шла даже с некоторой гордостью. Молодой кучер Михайла, с черкесским лицом, стройный, перетянутый ремнем с посеребренным набором, ловко сидел на облучке. Пожилой лакей, хоть и в очень старинной, но заметно сбереженной гороховой шинели, с несколькими воротничками и со светлыми пуговицами, тоже привычно сидел рядом с ним и, при малейшем наклонении саней на его сторону, сейчас же соскакивал и подпирал их плечом. Видно, он понимал, что едет с дамами, из которых одна, молоденькая, с прелестным, свежим личиком, беспрестанно выглядывала из-под опущенного фордека и, оглянув окрестность, снова опускалась в глубь саней, приговаривая с досадой: «нет еще, далеко».

Сидевшая с ней пожилая дама, казалось, и не слыхала этих восклицаний.

Если бы какой-нибудь художник захотел изобразить идею житейской озабоченности в виде женщины, то лучшего образца не нашел бы для себя, как эта дама, с впалыми, желтоватыми щеками, с довольно еще светлым, умным взглядом черных глаз, но который весь был погружен в себя и ушел в глубь души. В противоположность своему на все спокойно взиравшему супругу, своей пятнадцатилетней дочери, чем-то своим, должно быть, занятой, в противоположность наконец вялой и далеко не заботливой прислуге, – она одна тут обо всем думала и над всем бодрствовала.

Трудно перечислить, сколько забот, предположений, надежд и опасений проходило в ее бедной женской голове, а тут еще – смешно даже сказать – от дорожной ли езды, или от несущегося со всех сторон свежего воздуха, перед ней, как нарочно, начали восставать так давно уж, кажется, забываемые воспоминания...

2. Вельможи-благодетели

Надежда Павловна Басардина была чуть ли не пятая дочь секунд-майора Рылова, который, еще на ее памяти, ходил в кафтане с бортами, в чулках и башмаках и, как что-то, вероятно, очень умное, любил выделять перед гостями палкой, как павловским эшпатоном. Потом она воспитанница в доме князя Д... Целый верх огромного московского дома отведен был для десяти питомиц, все почти прехорошеньких собой девочек... Как живой стоял перед ней князь, всегда в синем фраке, в белом галстуке и с тремя звездами. Каждое утро они гуртом сходили к нему вниз делать реверанс, целуя при этом его белую и благоуханную руку... Шли потом к его дочери, величественной, бойкой красавице, Графине N., авантюристке по жизни, вышедшей сначала за французского эмигранта, бросившей его потом в Париже для итальянского тенора и теперь жившей, как знали все, даже маленькие воспитанницы, почти в открытой связи с правителем дел отца, безобразным, рябым, косым, но умным и пронырливым поповичем, грабившим всю Москву и при этом сохранившим какую-то демонскую власть над старым князем и его дочерью. Помнила Надина и огромную классную комнату с длинным столом, на председательском месте которого всегда восседала m-lle Dorothee, высокая, плоская швейцарка, скорей бы допустившая, чтобы мир перевернулся вверх дном, чем которая-нибудь из воспитанниц произнесла при ней русское слово. Помнила и танцевального учителя, ставившего их всех в ряд и довольно нецеремонно вытягивавшего их маленькие ножки для довольно трудных менуэтных па. Помнила наконец и многозначительный день: в доме шум, беготня; это приехал сын князя, юный дипломат, любимец двора. Надине было уже пятнадцать лет, она все внимательней и внимательней прислушивалась к шепоту подруг о непонятных и в тоже время как будто бы и знакомых ей вещах. В тот же день, на *petite soiree*, все воспитанницы были представлены молодому князю. Он их благосклонно, хоть несколько и свысока, оприветствовал. Никогда уже, во всю свою жизнь, ни прежде ни после, Надина не видала мужчины красивее, умнее и любезнее. Не давая себе хорошенько отчета, она обыкновенно засматривалась на князя, когда он стоял где-нибудь вдали и рисовался почти еще юношеским станом. Раз князь, именно в это самое время, обернулся к ней; Надина сконфузилась, покраснела. Он все это видел и улыбнулся ей.

Вскоре после того в довольно темноватую залу, где воспитанницам обыкновенно давали музыкальный урок, вошел князь. Надина сидела вдали от прочих девушек. Он прямо подошел и сел рядом с нею. Она сконфузилась и поотодвинулась от него.

Князь ласково посмотрел на нее.

– *Avez-vous des parents?* – спросил он ее, вероятно, затем, чтобы только заговорить с нею.

– *Non, mes parents c'est votre pere,* – отвечала Надина, совершенно сконфуженная.

– *Donc, je suis votre frere,* – подхватил князь: – так?

– *Non, non!* – повторяла шопотом Надина.

Все прочие воспитанницы, окружавшие рояль, стояли к ним спиной.

– *Et vous embrasser?* – заключил тем же шопотом князь, наклоняя свое лицо к лицу Надины.

– *Monsieur!* – произнесла та, отодвигаясь от него.

Голос учителя, позвавшего Надину, прервал эту сцену. Она проворно встала и подошла к фортепиано.

Князь, хоть и вдали, но стал против нее.

Надина пропела свой урок дрожащим голосом и почти со слезами на глазах.

На другой день ее остановила графиня.

– Chere enfant, un mot! – сказала она. Надина стала перед ней навытяжку. – Je veux voir votre figure et votre taille!

Надина потупилась.

– Vous etes charmante! – продолжала графиня с улыбкой. – Mon frere est amoureux de vous.

– Non, madame, – произнесла Надина, вся вспыхнув.

– Comment non? – спросила графиня, устремляя на молодую девушку почти любово-страстный взгляд.

В доме между тем готовилось новое торжество.

Молодой князь, по величайшей милости государя и в уважение к знаменитому роду, каких-нибудь двадцати семи лет назначен был уполномоченным при одном из маленьких дворов. Сама графиня-сестра взялась устраивать по этому случаю праздник. Все воспитанницы, одетые тирольскими пастушками, должны были поднести юному амфитриону цветы, а Надина, как более умненькая, была выбрана сказать ему поздравительное стихотворение. Князь, в свою очередь, имел у себя в запасе для прелестных тиролек целую коллекцию довольно ценных безделушек: милый век имел и милые обычаи!

– Vous recitez si bien, qu'il m'est difficile de trouver quelque chose a vous offrir, – говорил молодой посланник, торопливо роясь в безделушках, когда Надина нетвердым сконфуженным голосом произнесла ему свое восьмистишие.

– Je voudrais bien avoir votre portrait, – отвечала она почти уже шопотом и не помня сама, что говорит.

– Vrai? Je vais vous l'apporter, – воскликнул князь и бросился в кабинет отца, сорвал там со стены свой очень дорогой медальон на кости и подал его Надине. Та проворно спрятала его за корсет и, вся пылающая, убежала к себе наверх. Вечером, на бале во вкусе Трианона, все юные смертные были обращены в богов. Надина изображала Минерву. Князь танцевал с ней котильон и бесцеремонно жал ей руку. За ужином он сел против нее, кидал в нее шариками, выбирал ей лучшие конфеты и цветы и заставлял пить много вина. Сидевшая тут же рядом m-lle Dorothee на все это только улыбалась своим широким ртом. В доме старого князя все дышало одним воздухом: даже строгая швейцарка, позабыв целомудренные нравы родины, любила шаловливые и слегка скандальные сцены.

После ужина, детей, а в том числе и шестнадцатилетних воспитанниц, отправили спать раньше. Дежурная горничная, чего прежде не бывало, повернула и затушила ночную лампу.

– Что ты делаешь? – закричали-было ей со всех сторон.

Но она, ни слова не ответив, ушла.

– Mesdames! Мы во мраке! – говорили с хохотом маленькие шалуны, но вскоре потом, разумеется, и заснули.

Надина тоже уже спала... Вдруг она почувствовала на щеке чье-то горячее дыхание. Она в испуге открыла глаза... Перед ней стоял князь.

Надина приподнялась с постели.

– Que voulez-vous, monsieur? – проговорила она уstraшенным голосом и закрывая руками обнаженную шею.

Князь хотел обнять ее. Надина движением руки остановила его и сейчас же вскочила на окно дортуара.

– Si vous m'approchez, je me precipite de la fenetre! – проговорила она.

– De grace, ma petite, retirez-vous de la, – молил ее князь.

– Monsieur, sortez! – сказала Надина.

Голос ее был тверд и громок.

– Vous etes cruelle! – проговорил князь и, сделав ручкой, удалился.

Как ни грациозно была разыграна эта сцена, но она сильно поразила Надину: дрожащая от страха, униженная, оскорбленная, она сошла с окна. Нравственный инстинкт женщины заговорил в ней; ей как бы сразу представилось, где она и что она такое тут. Загадочная история с m-lle Горкиной, чудо какой хорошенькою и двумя годами старше ее воспитанницей, стала для нее ясна. Ту, как сама она рассказывала, каждый вечер водили в кабинет к старому князю, и тот, несмотря на ее слезы, посыпал ей на грудь табаку и нюхал его.

Родители Горкиной ужасно рассорились за это с князем и взяли дочь к себе.

Надина тоже решила написать отцу и сестре. В тысяче выражений она умоляла взять ее. Она писала: «Sauvez moi, ma soeur, de moi-meme. Le jeune prince est amoureux de moi et je puis perdre ma pudeur».

Старый майор в это время находился окончательно забранным в строгие и благочестивые руки старшей своей дочери, оставшейся при нем в девках, Бог знает когда-то и кем-то названной Биби и до сих пор сохранившей это имя между родными и знакомыми. Секунд-майор, слушал письмо своей «москОВки», только хлопал глазами; пожилая девственница, сама некогда воспитанница Смольного монастыря и недоучившаяся там единственно потому, что в петербургском климате ее беспрестанно осыпала золотуха, поняла все. Пиши сестра, что ее не кормят, не одевают, что каждый день ее мучат, колесуют, – сердце Биби не дрогнуло бы: но тут угрожала опасность чести их фамилии.

– В нашем семействе не было еще таких! – проговорила она почти с ужасом и настояла, чтобы в тот же день за сестрой в Москву была послана на паре, в кибиточке, подвода, на которой отправила любимого своего кучера Ивана Горького. Вместе с ним также поехала и приближенная к секунд-майору девица Матрена. Старик, был в таких уже летах, все еще не мог оставить своих глупостей, и Биби терпела их, помня только великое правило, что дети родителям не судьи.

Майор, под диктовку дочери, нацарапал князю письмо, которое начиналось так: «Ваше высокопревосходительство, господин генерал-аншеф и сиятельнейший князь!» – форма, которой научил его еще в полку писарь и которую он запомнил на всю жизнь.

Прописав титул, он просил отпустить к нему дочь его Надину, так как сам он приближается к старости, а старшая дочь его, и без того уж посвятившая ему всю жизнь, желает подумать и о себе и себе что-нибудь сделать для будущей жизни.

Диктуя последние строки, Биби решительно думала поразить ими все семейство князя и внушить к себе огромное уважение.

В заключении письма старик вопиял к именитому вельможе излить на свою питомицу последние милости и благословить ее образом Иверской Божией Матери, которая вечно будет ей заступницей в жизни, а затем подписался, слегка размахнувшись: «Вашего сиятельства нижайший раб, секунд-майор Рылов».

Несколько странно было видеть, когда Иван Горький, с удивленным лицом и растопыренными ногами, очутился на княжеском дворе, а Матрена, в пестрорядинной шубенке и валеных сапогах, – между накрахмаленными и раздушенными горничными в княжеской кофишенкской. Надина чуть не умерла со стыда, когда увидела посланных за нею: такие они были оборванные.

Старый князь, занятый в это время планами женитьбы сына чуть ли не на принцессе Брауншвейгской, несколько удивился, прочитав письмо секунд-майора; но, впрочем, величественным наклоном головы изъявил свое согласие и в день отъезда подарил Надине на приданое бриллиантовое ожерелье в десять тысяч ассигнациями. Что же касается до благословения, то православной иконы в доме не нашлось, и князь благословил свою рыдающую питомицу копией с Рафаэлевой Мадонны.

3. Совсем дичь

Дней через шесть Надина, вся разбитая от непривычной езды в нерессорном экипаже, приехала к родительскому крову и как бы чудом каким была перенесена из французского, фоблазовским духом преисполненного дома в самый центр деревенского православия.

Если бы пришлось подробно описывать жизнь секунд-майора и пожилой его дочери, то беспрестанно надобно было бы говорить: «Это было, когда поднимали иконы перед посевом; это – когда служили накануне Николы всенощную; это – когда на девках обарывали усадьбу кругом, по случаю появившегося в соседних деревнях скотского падежа».

Въезжая в усадьбу, Надина еще издали увидела старого отца, в том же чепане и с развевавшимися по воздуху седыми волосами, а за ним сухощавую фигуру сестры в черном платье и белом платочке на шее.

Она хотела было броситься к ним в объятья; но Биби движением руки остановила ее и указала на вынесенную чудотворную икону. Надина приложила к ней и затем уже почувствовала на щеках своих сморщенное, плачущее и заскорбленное лицо отца и сухие, тонкие губы сестры. В комнатах ее поразил сильный и совершенно незнакомый запах ладана и деревянного масла, и к ней как-то раболепно и суетливо стали подходить горничные девицы, одна другой пожилее и некрасивее. Биби не любила выдавать замуж свою женскую прислугу, и ее девки годам к тридцати страшно худели и старились, а потом так засыхали в этом виде на всю остальную жизнь.

На другой день Биби возила сестру к приходу и заставила там подать за упокой всех умерших родных, а по матери отслужить панихиду, непременно требуя, чтоб она за все это заплатила из своих карманных денег. Образ, которым благословили Надину, тоже немало занимал Биби: она все недоумевала, какого он во имя, и советовала, по этому случаю, с захавшим к ним невольником настоятелем Редчинской пустыни.

– Это вряд ли не католический образ, – заметил ей тот.

Биби была удивлена и огорчена, и как потом ее монахи ни уверял, что это ничего, что это все-таки образ, она поставила его в киоте ниже православных икон.

О причине, заставившей сестру бежать из княжеского дома, Биби не сказала с ней ни слова: о подобных вещах она не только что говорить, но даже думать не любила.

Для Надины таким образом началось все, что и прежде делалось в доме отца ее, более полугодом скучный, на постном масле, стол, почти каждую неделю какая-нибудь церковная служба в доме; Биби целый день или принимала и угощала разных странниц, или тихо, но злобно хлопотала по хозяйству. Старый отец, по ее приказанию, тоже все был больше в поле и смотрел за рабочими. Первое время Надина, по своему несколько идиллическому воспитанию, мечтала-было о прогулках по полям, о разговорах с добрыми поселянами и поселянками. Но из всего этого ее артистический взгляд только и увидал, как весной заделанные мужики, по большей части все старики, с перекошенными от натуги лицами взрывали неуклюжими косулями глинистую почву, а вечером ужинали одним квасом с хлебом, и хорошо-хорошо когда холодными щами с забелкой, – или как дворовые женщины, а в том числе и ходившие последнее время беременностями, не чувствуя собственной спины, часто, после заката солнца, дожинали отмеренные ей десятины, и их же потом бранили, что они высоко жнут, – или как наконец эти же самые добрые мужички, при первой же Никольщине, напились, как звери дикие, и в этом виде ругались такими словами, что слушать было невозможно.

Самым живым развлечением для Надины было ходить, в сопровождении горничных, за грибами и ягодами; но сестра и в этом ей всегда препятствовала, говоря, что неприлично девкам бегать по лесам: мало ли на что они там могут наскочить? Из прежних ее элегантных

занятий у нее только и осталось, что вышивание бесконечного ковра, который Биби заранее назначила для приношения в церковь.

Так прошли год, два, три, наконец десять. Скука и бездействие (из хозяйства Надине только и предоставлено было разливать чай), беспрестанное созерцание какого-то бессердечного богомольства сестры и наконец совершенно бессмысленная любовь отца, делали свое: Надина худела, дурнела; но в то же время умнела!.. Трудно передать ту степень неуважения, которое она чувствовала к своему ничего не могшему для нее сделать родителю, того ожесточения, которое питала против занятой какими-то неземными целями сестры.

В доме шла постоянная, хоть и сдерживаемая и скрываемая под наружным видом ласковости, борьба: Надина и приближенная к майору девица Матрена тянули в одну сторону, а Биби – в другую и, по высоте своей исходной точки, всегда одерживала над ними верх.

Женихов у Надины все это время не было никого: всем молодым соседним помещикам, по большей части кутилам и собачникам, она, по своему умению одеться, ловко держать себя, по своему отвращению от разных деревенских блюд, казалась уж очень образованною. «Жидка, братец ты мой, ничего с ней не поделаешь!» – говорил иной. «Подика женись на ней: таких супе и фрикасе потребует!» – рассчитывал другой.

Часто, гуляя по саду до полуночи, с пылающим лицом и сильно бьющимся пульсом, Надина хватала себя с отчаянием за голову и думала: «Господи! хоть бы за чорта да выйти замуж!». И это решительно было в ней не движением крови, а просто желание переменить свое положение.

4. Самец

В благородных строях кирасирского Его Величества Короля В...го полка, конечно, уж было немного таких скромных и молодцеватых офицеров, как ротмистр Басардин.

По формулярному его списку значилось: «родом из бедных дворян; воспитание получил домашнее (то-есть никакого); на службу поступил рядовым и через два месяца, по своей превосходной выправке, ехал уже ординарцем на высочайшем смотру». Закройщик Швецов про него говорил: «Вот на корнета Басардина шить любо: грудь навывкат, кость прямая, тонкая!». Невежа! Понимал ли он, что одеваемый им корнет по правильности своих форм был статуя античная. Даже в настоящем его чине, с начинавшею уже несколько полнеть талией, когда Басардин шел по расположенной на горке деревне, в расстегнутом вицмундире, в надетой набекрень фуражке, или когда где-нибудь сидел на бревнах, по большей части глядя себе на сапоги и опустив на нижнюю губу свои каштановые усы, между тем как при вечернем закате с поля гнали коров, по улицам бродили лошади, – глядя на него, невольно приходилось подумать: «Да, человек – красивейшее создание между всеми животными, и он один только может до такой степени оживлять ландшафт».

Здоровьем Басардин пользовался замечательным: он мог не спать три ночи, и при этом нимало не воспалялись его большие красивые глаза; зато и спал, после каждого утомительного перехода, часов по пятнадцати сряду. Курить мог всегда: утром, за обедом, после обеда, даже ночью, если б его разбудили для этого.

Другое дело для ротмистра было думать: мышление у нас все-таки есть, как хотите, болезнь, усиленная деятельность мозга насчет других органов. Но жизненная сила была слишком равномерно распределена в теле Басардина, и едва только позаберется ее несколько больше во вместилище разума и начнет там работать, как ее сейчас же потребуют другие части. Таким образом ротмистр не то что был глуп, напротив того: он судил очень здраво, но только все мысли его были как-то чересчур обыкновенны, ограничены и лишены всякого полета; а между тем по этому проклятому командованию эскадроном стали случаться следственные дела, надобно было отписываться, приходилось кое-что и по счетной части, а тут, пожалуй, пошли и распеканья за нестрогость характера. Все это весьма утомляло Басардина, и в последнее время, приехав в свою маленькую деревеньку, соседнюю с имением секунд-майора, он уже сильно тяготился службой.

Надина и прежде еще слыхала о красивом соседе-офицере. В первый раз они встретились в церкви, и она тут же принялась за него, как за якорь спасения: сама пригласила приехать к ним обедать. Басардин, на своей полковой тройке, молодцевато приехал, промолчал весь визит, потом через неделю, по приглашению той же молодой хозяйки, опять был и опять промолчал весь день. Надина безбожно кокетничала с ним. «Он недалек, но он добр!» – решила она мысленно и почти сама объяснилась с ротмистром в любви. Тот при этом слегка вспыхнул, и свадьба состоялась. Что потом последовало из сочетания этих двух организмов: одного, если можно так выразиться, могуче-плотского, а другого – душевного и нервного, угадать нетрудно. Басардин, быв еще женихом, подал в отставку, и молодые поселились в деревне. Надина к концу же года родила ребенка, мальчика и, к ужасу, с такими же большими глазами и прямыми ушами, как и у отца; на другой год опять ребенок, и опять с прямыми ушами. Супруга своего она уже совершенно понимала и видела, что он ей не помощник. Он обыкновенно целый день ходил по комнате, курил, молчал, после обеда спал; но когда жена сказала ему, что ей противен его храп, он и не спал. Между тем родился еще ребенок. Нужда в доме росла: Надина хозяйничала на своих тридцати душонках как только умела, сама устраивала кирпичный завод, сама откармливала свиней, и все-таки, по свойственному женщинам самолюбию, не желая мужа обнаружить перед обществом, рассказывала, что будто бы

все это придумывает и всем этим заправляет ее Петр Григорьевич; а потом, воспользовавшись первою же подошедшею баллотировкой, свезла его в губернский город, и там, чисто из уважения к ней, его выбрали в судьи.

Бывшему воину снова была задана в жизни задача. Напрасно он часов по семи сидел в присутствии, читал всякое дело от начала до конца, тер себе лоб, потел: ничего из этого не выходило. К концу трехлетия плутишка-секретарь успел-таки подвернуть такую бумажку, за которую их обоих отдали под суд. Басардин выразил при этом только небольшой знак удивления на лице.

– Как это тебя угораздило? – спросила его почти с отчаянием Надина.

– Не прочел... совершенно нынче не могу читать без очков, – отвечал он спокойно.

– И прочел бы, немного толку прибавилось бы, – заметила ему на это Надина и говорить больше не стала.

Затем снова последовала деревня... снова бедность... хлопоты по грошовому хозяйству и снова ребенок, но уж девочка и – о счастье! – не с огромными ушами, а с быстрыми и умными, как у матери глазами. Надина привязалась к этому ребенку с первых же дней и, стоя на коленях перед председателем уголовной палаты, своим родственником, она выхлопотала, что мужа оправдали, определила его потом в лесничество, вникала в его должность, брала за него взятки, но ничего не помогало: года через два Басардина, за обнаруженное перед начальством совершенное незнание лесной части, удалили снова от должности. Надина на этот раз ничего уже не сказала, а сама между тем высохла до состояния щепки и начала подозрительно кашлять.

И не одну, не двух, а сотни и тысячи мы знаем подобных тружениц-матерей, которые на своих скорбных плечах, часто под колотками и бранью, поднимают огромные семьи, а чтобы хоть сколько-нибудь подсобили им нести труды, которые возложили на них самцы-супруги.

Спихнув кое-как своих старших сыновей в корпуса, Надина на сколоченные с грехом пополам гроши стала воспитывать свою дочурочку. Она ее мыла, наряжала, сама учила говорить по-французски, приседать, танцевать. Обрывая потом себя до последней нитки, отдала ее в пансион и беспрестанно ездила к ней, чтоб она не скучала... Соня действительно была прелестный ребенок: высокенькая, грациозная, с прекрасным и уже недетским выражением на лице, она, видимо, наследовала душу матери и тело отца. Но Надежде, в ее материнском увлечении, казалось в красоте дочери некоторое сходство с красотой князя, медальон которого до сих пор еще хранился далеко-далеко запрятанным в старом комоде, в потайном ящике: в жизни ее была одна поэтическая минута, и она осталась ей верна до гроба.

Из Петербурга между тем пришло известие, что двое старших сыновей ее, очень добрые мальчики, но очень плохо учившиеся и сырой комплекции, умерли от скарлатины. Надежда Павловна даже не огорчилась: бедность иногда изменяет и чувства матери! «Что ж! Соне больше достанется», – шевельнулась в голове ее нечистая мысль.

Впрочем, в корпусе у нее оставался еще младший сынок, Виктор; но лучше бы было и не вспоминать о нем. Только по великой доброте благодетеля-директора он не был выгнан, потому что, кроме уж лени, грубости и шалостей, делал такие вещи, от которых у бедной матери сердце кровью обливалось!

Соня наконец кончила курс, и Надежда Павловна везла ее теперь к деду и тетке, перед которыми, как это ей ни было тяжело, в последнее время ужасно унижалась, все надеясь, не сделают ли они Соню своей наследницей.

5. Молодые отпрыски

Ковригино, усадьба секунд-майора; было уже видно. В наугольной комнате господского дома светился огонек. Все очень хорошо знали, что это от лампадки перед иконами. Направо, в окнах кухни, пылало целое пламя: значит готовился ужин. День был канун 1843 года, и, вероятно, ожидали священников.

Почувяв знакомые места, даже Митька оживился и начал бить беспрестанно свою клячу кнутовищем по заду. Потап едва поворотил на гору саврасую кобылу, до того она расскакалась. Шаркуны на тройке Михайлы весело звенели. Первая их услышала и узнала выбежавшая-было за квасом горничная девка Прасковья, добрейшее и глупейшее существо в мире. Она воротилась в девичью, как сумасшедшая.

– Надежда Павловна приехала, чертовки! – объявила она весело своим товаркам, сидевшим за прялками.

– Перины готовить надо! Где у тебя перины-то? Поди, чай, на холоду! – сказала заботливо другая девица, Федора, третьей девке.

– Принесу!.. – отвечала та, и тоже не без удовольствия.

Приезд гостей для этих полузатворниц всегда был чем-то вроде праздника.

– Что сидите! Барышне сказать надо! – сказала наконец каким-то холодным, металлическим голосом, вставая и уходя, четвертая девушка, Иродиада, молодая, красивая и лучше всех одетая.

Митька прокатил Дарью к девичьему крыльцу, а Басардин остановился у переднего и, вылезши из саней, хотел подслужиться к жене и высадить ее; но та даже не заметила его и прошла, опершись на руку лакея. Соня, как птичка, порхнула вслед за матерью.

Биби, в сопровождении двух-трех горничных девиц со свечами, дожидалась их в передней и со свойственной ей проницательностью сейчас же заметила, что на самой Надежде Павловне салопишко веретенном встряхни, а на дочке новый атласный, на лисьем меху. Соня сейчас же бросилась к тетке и начала целовать ее руки – раз-два-три... Биби сама целовала ее в лицо, в шею. У ней при этом даже навернулись слезы на глазах. Между собой сестры поцеловали одна у другой руку.

– Здравствуй, друг мой, – отнеслась потом Биби к зятю, не допуская его целовать у ней руку и сама целуя его в губы.

Она любила Петра Григорьевича за его кроткий и богомольный нрав.

По зале в это время ходил молодой человек в студенческой форме. Глаза его, кажется, искали молоденьких глаз девушки, и, когда они переглянулись, соня сейчас же потупилась и начала как будто бы поправлять платье, а студент, со вспыхнувшим лицом, продолжал на нее смотреть и только через несколько секунд сообразил и подошел к руке Надежды Павловны.

– Ах, Саша! Ты как здесь? – невольно воскликнула та.

– Так-с, приехал... – отвечал Александр сконфуженным тоном.

– Его мать сюда нарочно прислала, – произнесла Биби с заметным ударением на последних словах.

Это был единственный сын их родной племянницы, богатой женщины: Надежда Павловна бесконечно завидовала всему этому семейству и считала их соперниками по наследству от Биби.

Студент подошел также и к руке Сони. Она проворно подала ему свою ручку, и что-то беленькое, вроде свернутого клочка бумажки, осталось в его руке.

Он проворно спрятал ее в карман.

– Что батюшка?... – спросила Надежда Павловна печальным голосом сестру.

– Слаб, – отвечала та в том же тоне и, когда все было-пошли за нею, она прибавила: – не ходите все вдруг.

Секунд-майору в это время было без году сто лет, но он сохранил все зубы и прекрасный цвет лица; лишился только ноги и был слаб в рассудке. С седою как лунь борою, совсем плешивый, с старческими, слезливыми глазами, в заячьем тулупчике и кожаных котах, он сидел в своей комнатке, в креслах у маленького столика, на котором горела сальная свеча.

Перед ним стоял дворовый мальчик в рубашке и босиком. Биби только в недавнее время успела удалить от отца его приближенную мерзавку, и то уж уличив ее почти на месте преступления в пьянстве и воровстве. Старик более полугода печалился о своей няньке, но воспротивиться дочери не смел.

Теперь он целые дни играл с дворовыми ребятишками в карты в дурачки, в ладышки, и с настоящим своим собеседником они в чем-то, должно-быть, рассорились.

– Ты зачем у меня кралю-то украл? – говорил он мальчику.

– Что ты? Где украл? Она у тебя, барин, на руках, – отвечал тот дерзко.

– Где на руках? – повторял старик, плохо уже разбиравший и карты.

В это время вошла Биби, и мальчик сейчас же вытянулся в струнку.

– У вас в руках-с!.. – отвечал он вежливо и показал на действительно находившуюся в руках майора даму.

– Батюшка, Надина приехала, – объявила Биби отцу почтительным тоном, и потом первая бросилась к деду Соня. Она схватила его грязную руку и целовала.

– Ну вот!.. – говорил он, в одно и то же время плача и смеясь.

– Я вам, дедушка, конфет привезла... Мне их подарили в пансионе, а я их вам сберегла, – продолжала Соня, проворно вынимая из своего кармашка целую кучу конфет.

– Ну вот!.. – повторял старик, совсем довольный. Лучше этого для него ничего не могло быть. Сахар и конфеты он обыкновенно клал во все, даже в щи.

– Чай до службы или после службы будете пить? – спросила Биби своих гостей.

– Я думаю, после службы, – отвечала Надежда Павловна, чтобы угодить сестре. – Переодеться только Соне надобно!.. – прибавила она робко и не желая, чтобы дочь хоть на минуту явилась перед посторонними глазами не мило-одетою.

– Ну, ну, поди, принарядись, козочка! – сказала ей тетка ласково.

Соня с жаром поцеловала ее в грудь.

Биби на этот раз до того простерла свою ласковость к племяннице, что сама пошла и показала отведенную для нее комнату, где, заметив, что у Сони башмачки худы (единственная вещь, которую мать не успела сделать ей), она сейчас же позвала дворового башмачника Сережку и велела ему снять с барышни мерку и из домашней замши сделать ей ботиночки крепкие, теплые и просторные.

– Можно это... – отвечал Сережка, по обычаю своего звания, с ремнем на голове, несколько кривобокий, перепачканный в купоросе и саже и сильно, должно-быть, пристрастный к махорке.

Басардин между тем ходил по зале с Александром.

– Вот, как это рассудить? – говорил он с глубокомысленным видом и доставая длинною бумажкой от образов огня: – грех от лампадки закуривать или нет?

– Нет!.. что ж? – отвечал студент. – Нынче вот электричеством изобрели закуривать... При химическом соединении обнаруживается электричество... если теперь искру пропустить сквозь платину, то при соприкосновении ее с воздухом дается пламя...

Студент заметно подделывался к родителю Сони и, желая ему рассказать что-нибудь интересное, толковал ему вещь, которую и сам не совсем хорошо понимал.

– Не знаю-с, не видал! – отвечал Басардин.

Приехали священники. Отец Николай, начав еще в санях надевать рясу, в залу входил, выправляя из-под нее свои волосы. Басардин сейчас же подошел к нему под благословение и движением руки просил его садиться. Студент поклонился священнику издали.

Оставшиеся в передней дьячки тотчас же попросили у ключницы барского квасу и выпили его стакана по четыре.

– Что, перемело дорогу-то? – заговорил Петр Григорьевич первый.

Он умел и любил поговорить с духовенством.

– И Господи как! – отвечал священник. – Я, признаться сказать, собачку держу, так бежит вперед, поезжай за ней, никогда не собьешься... – прибавил он и, вероятно, занятый каким-нибудь своим горем, задумался.

Петр Григорьевич некоторое время как бы недоумевал.

– А что, отец Петр все еще при церкви? – проговорил он наконец с улыбкой.

Видимо, сделанный им вопрос был несколько щекотливого свойства.

– Все еще тут, – отвечал отец Николай.

– И все по-прежнему неудовольствия идут?

– Все так же и то же, *idem per idem*!

– Хуже этих неудовольствий ничего быть не может! – заключил Басардин. По своему миролюбивому нраву, он искренно полагал, что все несчастья происходят от того, что люди ссорятся.

Священник ничего на это не отвечал: перед тем только начальство выдержало их обоих под началом и все-таки не помирило.

Вошли: Биби, несколько чопорной походкой, Надежда Павловна, в своем том же дорожном капоте, и Соня, вся блистающая своим свежим личиком и новым, с иголки, холстинковым платьем. Все они, по примеру хозяйки, подошли к благословлению отца Николая, который после того стал надевать ризы, а из лакейской появились, с раздутым кадилом и с замасленными книгами, дьячки. Петр Григорьевич пододвинулся к ним, чтобы подпевать во время службы: он до сих пор имел еще довольно порядочный тенор. Надежда Павловна, Соня и Биби поместились в дверях гостиной. Из девичьей и из лакейской стали появляться горничные девицы, дворовые бабы с ребятишками и мужики. Биби непременно требовала, чтобы вся ее прислуга ходила за каждую в доме церковную службу, и если при этом хоть какая-нибудь даже трехлетняя девочка, поклонившись в землю, позазевается, она непременно заметит это и погрозит ей пальцем. Запах от мужицких тулупов и баб, пришедших с грудными младенцами, сделался невыносимым. Горничные девицы, в угоду госпоже, молились до поту лица. Соня тоже ужасно усердно молилась и постоянно старалась быть на глазах у тетки. студент со сложенными руками стоял посреди народа. Всенощная и молебен с акафистом в Ковригине обыкновенно продолжались часов по пяти.

«С Новым годом, с новым счастьем», – раздалось после службы. В самом деле, было уже двенадцать часов. Затем следовал наскоро чай, которого однако отец Николай успел выпить чашек пять, а дьячки попросили-было и по шестой, но им уже не дали. За ужином господам подавали одни кушанья, а причту другие: несмотря на свою религиозность, Биби почему-то считала для себя за правило кормить духовенство еще хуже, чем других гостей; но те совершенно этого не замечали.

Александр во все это время был взволнован. Он только после службы улучил минутку и прочел полученный им лоскуток бумаги. Там было написано: «Любите меня и будьте осторожны». К концу ужина он наконец осмелился и обратился к Соне, сидевшей с потупленными глазами около тетки.

– Что вы желаете этому шарiku? – сказал он, показывая ей на скатанный кусочек хлеба.

– Быть скромным! – отвечала скороговоркой Соня.

– Это я! – сказал, краснея, студент.

Через час в Ковригине все улеглось по своим комнатам: молодость — с какой-то жгучею радостью в сердце, а старость и зрелость — с своими обычными недугами и житейскими заботами, и вряд ли не одни только во всем селении Митька и барин его Петр Григорьевич заснули, ничего не думав.

6. Подставленная шпилька

Невысоко стоявшее зимнее солнце тускло светило в нечистые с двойными рамами окна ковригинской гостиной, в которую на этот раз выкатили на креслах и старого майора, в новом нанковом, по случаю праздника, чепане, причесанного и примазанного. Вчерашний дворový мальчишка, тоже в новой рубашке, но по-прежнему босиком, стоял перед ним на вытяжке. Соня сидела около бабушки и беспрестанно подавала ему то табакерку, то платок. Надежда Павловна была погружена в приятные мысли, что неужели же Биби не подарит Соне, по случаю выхода ее из пансиона, хоть рублей сто, а Петр Григорьевич, напротив, был грустен и, сидя на диване, чертил на пыльном столе какие-то зигзаги: жена ему только сегодня по утрам сказала, что они действительно едут на баллотировку.

«Опять этот город, незнакомые люди, а может-быть, и эта служба проклятая!» – думал он: деревенскую свободу и уединение Петр Григорьевич предпочитал всему на свете.

Стали подавать закуску, и вошла Биби. Она была, как заметно, в дурном расположении духа: ее сейчас только встревожила ходившая за ней и отчасти уже знакомая нам девица Иродиада.

Девка эта представляла собой довольно загадочное создание: лет до шестнадцати она, по мнению Биби, была ветреница и мерзавка, и дошла наконец до того, что имела дитя. Случаи эти, бывавшие, разумеется в Ковригине не часто, всегда имели несколько трагический характер.

Когда преступница не имела более возможности скрывать свой грех, то обыкновенно выбиралась какая-нибудь из пожилых и более любимых госпожою девиц, чтобы доложить ей, и по этому случаю прямо, без зову, входила к ней.

– Что тебе? – спрашивала Биби несколько встревоженным голосом.

– Насчет Катерины пришла доложить-с, – отвечала протяжно пришедшая.

– Что такое? – спрашивала госпожа, уже бледнея.

– В тягости изволит быть, беременна-с.

Преступница, стоявшая в это время за дверьми, распахивала их и, ползя на коленях, стонала:

– Матушка, прости! государыня, помилуй!

– Прочь от меня, мерзавка!.. Видеть тебя не хочу! – восклицала Биби с ужасом и омерзением.

Девка продолжала ползти на коленях.

– Я любила твою мать, твоего отца... и чем ты меня за все это возблагодарила? Тебе еще мало, что на конюшне выдерут, что косу обрежут, тебе этого мало, – продолжала госпожа, все более разгораясь.

И у девки действительно обстригали косу, а иногда и подсекали ее. Ребенок по большей части умирал, и бедная грешница, с обезображенной головой, в затрапезном сарафанишке, прячась от господ, ходила ободворками на полевою работу, и часто только спустя год призывалась в горницу; но и тут являлась какою-то робкою, старалась всегда стоять и сидеть в темных местах и на всю жизнь обыкновенно теряла милость госпожи. То же самое повторилось и с Иродиадой; но только она после своего несчастья как бы окаменела и, призванная снова в горницу, прямо явилась к барышне.

– Простите меня, сударыня, я исправлюсь и заслужу вам, – проговорила она.

Видно было, что в голосе ее прозвучало что-то особенное, так что даже Биби это заметила.

– Я ходить бы, сударыня, за вами желала, – продолжала между тем смело Иродиада.

– Хорошо, там увидим, – отвечала ей Биби и через две недели, сверх всех своих правил, надумала и допустила Иродиаду ходить за собой. Та начала служить ей нелицемерно: ни с одним мужчиной после этого она уже не пошутила; никто никогда не смел бранного звука произнести при ней про госпожу; спав всегда в комнате Биби, она, как это видали почти каждую ночь, уходила в образную и, стоя на коленях, молилась там до утренней зари; когда приезжали гости и хоть на минуту оставались одни, без хозяев, Иродиада подслушивала у дверей, что они говорят. В настоящем случае она доложила барышне, как Надежда Павловна и Софья Петровна, ложившись вчера почивать, изволили между собою разговаривать, что-де в Ковригине из такого все запаса и так все скверно готовится, что они ничего в рот не могут взять.

Биби на это только хмыкнула.

Войдя в гостиную и усевшись на диван, она прямо обратилась к зятю.

– Петр Григорьевич, выпей водочки и скушай что-нибудь. Не побрезгуй хоть ты-то нашим хлебом-солью.

В последних словах ее послышалось что-то зловещее для Надины. Но Петр Григорьевич, ничего этого, конечно, не понявший, положил себе не без удовольствия на тарелку два куска пирога и, отправившись в угол, начал там смиренно есть.

– Саша, покушай, друг мой! – обратилась Биби к Александру и нарочно необыкновенно ласковым голосом.

Студент тоже, со свойственным его возрасту аппетитом, наложив себе на тарелку не совсем свежей печенки, сухой икры и трехгодовалых рыжиков, принялся все это уничтожать. Надежда Павловна и Соня намазали себе только немного масла на хлеб.

Биби решительно шипела.

– Виктор ваш скоро должен выйти в офицеры, – отнеслась она к сестре.

При этом уж Надежда Павловна вспыхнула; Биби всегда колола ее тем, что в отношении к сыновьям она дурно исполняет свои обязанности.

– Да, если выдержит экзамен, – отвечала она коротко, чтобы прекратить этот разговор.

– Я получила от него довольно странное письмо, – продолжала Биби с расстановкой. – Вот оно, не хочешь ли полюбопытствовать, – прибавила она, вынимая из кармана и подавая Надежде Павловне кругом исписанный лист почтовой бумаги. Та взяла его дрожащею и сконфуженною рукой. Она заранее предчувствовала, что тут заключается; но, с продолжением чтения, гневный румянец все больше и больше выступал на ее щеках. Молодой Басардин, несмотря на кадетский почерк и обильное число грамматических ошибок, владел, как видно, пером. «Дражайшая тетушка! – писал он: – я еще помню вас маленьким и драгоценный образ ваш навсегда сохранил в моей памяти. Простите великодушно, почтеннейшая тетушка, что никогда не писал к вам. Причиной тому мои родители, которые отвергнули меня еще от груди матери, но теперь я скоро буду офицер и хочу сам себе пробить дорогу в жизни или умереть на поле чести»...

– Боже, как он глуп! – почти простонала бедная мать.

«Я, вероятно, по успехам в науках буду выпущен в гвардию, – продолжал кадет: – но, к несчастью моему, не имею не только что на обмундировку, но даже купить получше смазных сапогов для выхода из корпуса по праздникам. На вас теперь, высокоуважаемая тетушка, вся надежда молодого несчастливца, который после многих писем к родителям, на которые не получал даже ответа...»

Далее Надежда Павловна не в состоянии была читать.

– Он врет, мерзкий мальчишка! Я недавно послала ему пятьдесят рублей, и никогда он не будет выпущен в гвардию! – проговорила она гневно и с полными слез глазами.

– Я ничего того не знала и не знаю, и, конечно, пособила ему, сколько могла... – произнесла Биби напыщенным тоном.

– Напрасно! – возразила Надежда Павловна: – вам бы лучше следовало это письмо прислать ко мне.

– Ну, уж извините, этого я не сообразила, – отвечала ядовито-покорно Биби.

– Потому что, – продолжала Надежда Павловна рыдающим голосом: – ссорить мать с детьми...

– Кто же это вас ссорит? – перебила ее строго Биби. Надежда Павловна несколько приостановилась. – Кто же это ссорит? – повторила Биби: – а что то, что видят все добрые люди, того скрыть нельзя... – заключила она многозначительно.

– Ну да, все видят... вы всегда были против меня во всем... а хотя бы немного пощадили меня, – произнесла окончательно разрыдавшаяся Надежда Павловна и ушла.

Соня последовала за матерью.

– Я же виновата! – сказала Биби и преспокойно принялась за свою работу.

Огорчение, которое причинила она на этот раз сестре, было очень сильно. Надежда Павловна, позабыв всякий расчет на наследство, прислала через несколько минут Соню в гостиную.

Та первоначально подошла к отцу.

– Папаша! Мамаша велела вам сказать о лошадях... После обеда мы поедем.

Что-то в роде улыбки промелькнуло на лице Биби. Соня подошла к ней.

– Мамаша велела вас спросить, сколько вы послали братцу, и вот она деньги прислала вам, – говорила она, протягивая к тетке руку с пачкой ассигнаций.

Биби покраснела.

– Я не беру назад того, чем дарю, – сказала она, хоть бы одним членом пошевелившись.

Соня на некоторое время осталась сконфуженною.

Сначала она, с потупленною головой, пошла-было к матери, потом тотчас же вернулась оттуда и села опять около дедушки. Петр Григорьевич, не совсем понявший переданное ему от жены приказание, обратился к дочери.

– Да-с, – отвечала Соня, и в это время какая-то мгновенная игра во взорах произошла между нею и Александром, который сейчас после того встал и пошел за Басардиным.

Тонкий слух Биби донес ей, что и он тоже велел себе закладывать лошадей.

– Ты это куда? – спросила она, когда Александр возвратился.

– Нужно, бабенка: мне в городе еще надобно пробывать; потом к маменьке заехать; в дороге тоже дня четыре пробудешь... – говорил он, краснея и пугаясь.

– Врешь все! – сказала Биби и, по самолюбию своему, ничего больше не прибавила. Она очень хорошо видела, что внук оказывал в этом случае Басардиным предпочтение против нее, но об истинной тому причине вряд ли догадывалась. Обоих молодых людей она еще и считала за совершенных детей.

Перед самым отъездом Соня выкинула маленькую и не совсем, кажется, искреннюю штучку. Оставшись случайно с теткой вдвоем, она вдруг бросилась к ней на шею и проговорила:

– Тетенька, простите маменьку!

– Я ничего не имею против нее, – отвечала сухо Биби и затем, объявив племяннице, что ботиночки она вышлет ей в город с первою же оказией, повесила ей на шею маленький образок Митрофания на золотой цепочке, но и только!

При расставании все пошли первоначально проститься со стариком, который и не уразумел, что это такое, и по-прежнему повторил свое: «ну вот! ну вот!». Биби простилась с некоторым чувством с одним только Петром Григорьевичем и сказала ему: «прощай, мой друг!» Все тронулись. Александр на своей щеголевой тройке, которую мать дала ему в распоряжение, поехал впереди. Он упросил также сесть с собой и Петра Григорьевича, а паре его и Митьке с Дарьей велено было ехать сзади.

Надежда Павловна, сев в экипаж, дала полную волю своему гневу и горю.

– Этакое зелье... змея!.. – повторяла она несколько раз.

– Кто это, мамаша? тетенька? – спросила Соня.

– Да, – отвечала Надежда Павловна и продолжала: – этакая чертовка... ведьма!

Бедная женщина так была взволнована, что совершенно забыла свой обычно-приличный тон и всякую осторожность в присутствии дочери.

Мороз между тем с закатом солнца страшно свирепел; лошади, сплошь покрытые инеем, бежали быстро; полозья скрипели, как будто бы ехали по льду. Кучера, а в том числе и флегматический Митька, беспрестанно соскакивали с передков и бежали около повозок. Потап, забравшись на барское место, хоть бы чорт все побрал, перестал уж и править лошадьми. У Надежды Павловны, от холода и душевных волнений, до сумасшествия болела голова. Даже Петра Григорьевича, несмотря на капитальный запас собственной теплоты, сильно пробрало. Его потертые медведи как бы совсем отказались служить ему. «Шубой тоже называется, шваль этакая!» – начинал он думать с некоторой досадой.

Таким образом только два существа были тут счастливы: студент, который с каким-то опьянением думал, что с ним будет сегодня же вечером, и Соня в своем теплом салопчике, мечтавшая, как о с кем она будет танцевать на балах. Перед ними обоими мысли расстились длинною и заманчивою пеленой.

7. Блаженнейшие минуты

Басардины всегда останавливались ночевать в Захарьине у Никиты Семенова, мужика зажиточного, несколько дерзкого и грубого на язык, но правдивого и решительно всех своих постояльцев – и мужика и барина – одинаково разумевающего...

В большой избе его была зажжена огромная лучина и не было ни души. Сам он только сейчас возвратился с базара и, в одной рубахе, с железным подсвечником в зубах, что-то не совсем ловко возился с запором, который никак не входил у него в скобку. Погнуло ли ее, проклятую, или у самого Никиты косило в глазах, прах ее знает!

Хозяйка его, большуха, поила в коровьей избе теленка, который никак не хотел совать морду в крынку, но, приняв, наконец ее палец за материнский сосок, принялся тянуть молоко. Бабушка-старуха, со внучатами, давно уже спала в третьей избенке.

В окно большой избы громко застучали кнутовищем... Никита, услышав это, выглянул со свечой за калитку и, узнав своего старого приятеля, сивого меренка, тотчас же отпахнул ворота и поднял одною рукой длинную подворотню.

– Въезжайте! – проговорил он.

Первый из саней выскочил Петр Григорьевич: едва сняв с себя шапку и сбросив шубенку, он прямо полез на печь.

– Этакого чорта мороза еще и не бывало, – объяснил он оттуда, скидая с себя сапоги и ставя свои ноги на самое горячее место печи.

Студент тоже, сам не зная как, отморозил два пальца.

Дарья, совершенно окоченевшая от холоду, ввела барыню под руку. Надежда Павловна сейчас же стала распоряжаться о чае. Ее по преимуществу беспокоило, не прозябла ли Соня; но та только пылала румянцем, и с ее улыбки и розовых щечек как бы летели мириады амурчиков.

– Ничего, мамаша, – говорила она, когда мать вытирала ей лицо холодной водой и советовала не снимать теплых ботинок.

– Ничего!.. – повторила Соня и в дорожном капотце, с выпущенными белыми зарукавничками, положила ручки на стол и стала лукаво глядеть на студента, давно уже поместившегося невдалеке от нее и жадно на нее смотревшего.

Надежда Павловна, напоив молодежь чаем, наконец вспомнила о муже.

– Где же Петр Григорьевич? – спросила она.

– Я здесь... озяб ужасно, – отозвался тот с печи.

– Какой нежный, скажите! – заметила ему на это Надежда Павловна.

– Чего нежный!.. Шуба никуда не годится...

Шуба в самом деле до сих пор еще стояла колом. Надежда Павловна послала на печку стакан чаю, а у самой в тепле так разболелась голова, что она и сидеть не могла: встав, как пьяная, с места, она сказала:

– Я пойду, прилягу!

Им с Соней было постлано за перегородкой.

– А ты еще посидишь? – прибавила она, обращаясь к дочери.

– Посижу! – отвечала та.

Надежда Павловна осталась как бы в недоумении несколько минут, но потом, приговора: «хорошо!», ушла.

В этом заключалось целое море материнской нежности. Она очень хорошо видела, что дочери хочется посидеть со студентом, и хоть, может-быть, считала это со своей стороны не совсем приличным, но не в состоянии была воспрепятствовать тому.

Оставшись вдвоем, молодые люди несколько конфузились друг друга.

– Ах, какие у этого господина ужасные усы! – проговорила Соня, показывая на ползшего по столу таракана.

– А вот я его заключу сейчас, – сказал студент и обвел кругом таракана водяную жидкость.

Таракан действительно засовал рыльцем туда и сюда и не мог ниоткуда вылезти.

– Ну что, освободите его! – возразила Соня и протянула было ручку, чтоб обтереть воду. Студент не допускал ее. Руки их встретились.

– Отпустите его! – сказала наконец Соня строго и серьезно, и Александр сейчас же ей повиновался.

После того она обратила внимание на висевшее перед образом яйцо.

– Ах, какое большое яйцо! – сказала она.

– Это, должно-быть, лебединое, – объяснил ей студент.

– Зачем же оно тут висит?

– У крестьян всегда так, – отвечал Александр нехотя.

Видимо оба говорили совершенно не о том, о чем бы им хотелось.

С печки в это время начал уже явственно слышаться храп Петра Григорьевича.

– Опустите вашу ручку под стол, – проговорил вдруг Александр, наклоняясь низко над столом.

Соня сделала движение, чтобы в самом деле опустить ручку; но в это время дверь скрипнула. Молодые люди вздрогнули и пораздвинулись.

В избу вошел хозяин с еще более всклокоченною головой и бородой и стал оглядывать избу.

– Где ваша девушка-то тут? Шла бы ужинать!.. Дашутка! – крикнул он.

И Дарья действительно появилась откуда-то из-за печки, где она было-прикурнула.

– Она была здесь! – сказала, закусив губки, Соня.

– Да, – прошептал и студент, не менее ее сконфуженным голосом.

Дарья однако, ни в чем, кажется, неповинная, смиренно ушла, а Никита не уходил.

– Я вот все на молодого-то барина гляжу, признать никак не могу, чей такой? – сказал он, не спуская с Александра глаз.

– Я Аполлинарии Матвеевны Баклановой сын, – отвечал тот.

– Слыхал... Папенька-то у тебя ведь ныне помер?

– Да!

– Ты сам-то из военных, что ли, али, может, межевой? – продолжал Никита, уже садясь на лавку.

Он заметно был выпивши.

– Я студент, – отвечал Александр.

– В ученьи еще, значит. По росту-то, словно бы и службу тяпать пора.

– Это все равно, что на службе: нам дают два чина.

– За что ж это?

– За ученье.

Никита покачал головой.

– Плохо что-то, паря, ваше ученье-то, – сказал он: – много тоже вот вашей братьи этаких проезжает из кутейников и из дворянства; пустой народ, хабальный... офицеры невпример подбористее будут, складнее.

Александр на это счел за лучшее только усмехнуться.

– В женихи, что ли, к барышне-то ладишь? – не отставал от него Никита, показывая головой на Соню.

– Нет, не в женихи, – ответил ему насмешливо Александр.

– Нам нельзя, мы родня, – подхватила Соня.

– Родня! Ишь ты, а! – произнес Никита, как бы удивившись. – Коли родня, значит, нельзя теперь.

– Отчего ж? – спросил уж Александр.

– В законе не показано.

– Что ж, что не показано! Это вздор!

– Как вздор!.. нет!.. Счастья при том не бывает. Коли тоже, где этак вот повенчаются, так опосля, чу, и не спят вместе, все врозь... опротивеет! – объяснял Никита откровенно, и Бог знает, до чего бы еще договорился; но в дверях показалось лицо Михайлы, кучера Надежды Павловны.

– Что те? – спросил он его.

– Сена-с! – отвечал тот вежливо.

– А не хочешь ли полена-с? – отвечал ему Никита, впрочем, сейчас же встал и пошел.

Глядя на его огромную курчавую голову, двухаршинные плечи и медвежью спину, неудивительно было, что он куражился над прочим человечеством.

– Какой он гадкий! – сказала по уходе его Соня.

– И несносный! – прибавил студент.

Ручки Сони в это время были под столом, Александр и свою протянул туда и осмелился взять ее за кончики пальчиков... Ему ответили полным пожатием. Он захватил уже всю ручку и потом, наклонившись как бы поднять что-то с полу, поцеловал ее.

– Перестаньте, – шепнула Соня.

– Отчего же? – спросил Александр.

– Так, я и то уже сделала три ступени к пороку, – говорила Соня.

– Нет, отчего же? – повторил студент.

Блаженству их не было пределов!

Часто, глядя на казармоподобные дома городов, слыша вечные толки о житейских, служебных и политических дрязгах, глядя по театрам на бездарных актеров, слушая музыку, которая больше бьет вас по нервам, чем по душе, невольно приходилось думать: «где ж поэзия в наше время?» А вот где! На постоялом дворе Никита Семенова!.. В каком-нибудь маленьком домике, где молодая мать, с обнаженной шеей и распущенною косой, глядит на своего милого ребенка: кругом ее нищета, а она на небе... На небольшой холм вышел труженник мысли, издевавший своим разумом и течение вод земных и ход светил небесных, а теперь с каким-то детским восторгом глядит на закат солнца и на окружающий его со всех сторон пурпур облаков!.. Сонный тапер в большой, грязной, но позолоченной комнате играет на нестройном рояле; полупьяные пары нетвердою поступью танцуют холодный и бесстрастный канкан; разбитые и выпитые бутылки катаются у них под ногами; но тут же, в полусвете, рисуется стройный стан молодой женщины и черный профиль мужчины, и они говорят – говорят – говорят между собой! Посреди этой душной атмосферы винных паров, бесстыдных и нахальных речей, посреди смрада болезни и разврата, их искреннее чувство, как чистый фимиам, возносится к небу... Где поэзия? Выкинуть ее из жизни все равно, что выкинуть из мира душу, мысль.

Сальная свечка, освещавшая Соню и студента, очень однако нагорела и только что не гасла. Храп Петра Григорьевича раздавался по избе. Из комнаты Надежды Павловны не слышно было не звука. Дарья все еще не возвращалась. Молодые люди уже несколько минут держали друг друга в объятиях и тихо-тихо целовались.

– Соня! – окликнула наконец мать.

– Сейчас, мамаша, – отвечала та и, вырвавшись из робко распустившихся рук Александра, ушла за перегородку и через несколько минут, вся пылающая, но, по-видимому спокойная, лежала около матери.

Александр влез на полати.

Думали ли они, что это были последние для них счастливые минуты, и что они долго потом не сойдутся, а если и сойдутся, так далеко не полною рукой будут срывать розы счастья, и хорошо еще, если в душах их останутся от них лепестки, не разбитые бурями и непогодами.

8. Александр совсем на небе

Губернский город, по случаю сошедшихся в одно и то же время баллотировки и рекрутского набора, значительно пооживился: на его длинных и заборами наполненных улицах стало попадаться, во всевозможных деревенских экипажах, много помещичьих физиономий. По лавкам более обыкновенного толпились дамы, по большей части полные и с закругленными, красноватыми лицами. Петр Григорьевич тоже ездил по визитам, сидя чопорно и прямо на своих пошевнях, и не на саврасой кобыле, а на жениной коренной. Легче было бы для этого бедняка ворочать жернова, чем делать то, что заставляла его Надежда Павловна. Хорошо еще, где говорили: «дома нет!», а в других местах и принимали.

– Как здоровье вашей супруги?.. ваших деточек? – говорил он обыкновенно в этих случаях, и потом, заключив все это фразой: «имею честь поручить себя вашему расположению», заканчивал тем свое посещение.

Пот уж градом катился с его лба, и мысли его были в самом дурном настроении.

«Выдумали эти окаянные баллотировки, съезжаются тоже, толкуют, беснуются, а из чего, чорт знает!» – думал он, подъезжая к своей квартирке, которую нанимали они у Покровского священника во флигельке.

В небольшой комнатке, оклеенной чистенькими обоями и сейчас же следовавшей передней, на небольшом кожаном диванчике сидела Соня. В своей утренней блузе, с завитыми в папильотки волосами, она была олицетворенная прелесть и свежесть.

Будь у Петра Григорьевича хоть капля эстетического чувства, он, возвратясь с визитов и увидев свою дочурочку, непременно бы почувствовал желание привлечь ее к своей груди и расцеловать ее в губки, в глазки, в голову; но он только и есть, что робко спросил ее:

– А что, мамаша дома?

– Дома, – отвечала Соня.

Басардин сел: ему всего бы больше хотелось поскорей стянуть с себя проклятый мундир, но он не смел этого, не зная, не пошлют ли его еще куда-нибудь.

Александр, обыкновенно забиравшийся к Басардиным с раннего утра, был тут же. Лицо его сияло счастьем. Каждым своим словом, каждым движением Соня исполняла его каким-то восторгом. В соседней комнате Надежда Павловна все хлопотала с бальным нарядом дочери, которая в этот день должна была в первый раз выехать в собрание; но Соня, напротив, оставалась совершенно спокойна, она даже смеялась над хлопотами и беспокойством матери. Будущая пожирательница мужских сердец заранее предчувствовала, что выйдет оттуда победительницей.

Надежда Павловна, утомленная, нечесаная, наконец вышла.

– Что ж стол не накрывают? – спросила она усталым голосом.

Александр сейчас же начал раскланиваться. Чтобы не стеснять Басардиных в их хозяйстве, он никогда не оставался у них обедать.

– Adieu! – сказала ему Надежда Павловна, сама хорошенько не помня, что говорить. Соня посмотрела на студента с нежностью. Петр Григорьевич пошел проводить его до передней.

– Славный конь! – сказал он, когда Александр подкрикнул своего извозчика, на сером в яблоках жеребце, с медвежьей полостью на санях. Чтобы представить собою вполне губернского денди, молодой человек не ездил на своих дорожных лошадях, а нанимал лучшего в городе лихача-извозчика. Усевшись в сани и завернувшись несколько по-офицерски в свою, с бобровым воротником, шинель, он крикнул: «пошел!».

Извозчик сразу продернул его мимо басардинских окон, причем студент едва только успел приложиться рукой к фуражке, а Соня – кивнуть ему через стекло головой.

– Славный конь! славный! – повторял ему вслед Петр Григорьевич.

Старый кавалерист до сих пор любил еще считать себя большим знатоком в лошадях, и вряд ли это была не единственная вещь, которою он гордился в жизни. Александр между тем, через две-три улицы, подъехал к большому деревянному дому. Это был их собственный дом. Покойный отец его был какой-то несменяемый председатель уголовной палаты. Он-то обыкновенно, из сожаления к Надежде Павловне, выцарапывает Петра Григорьевича из-под суда и считал его в то же время дураком набитейшим. В прежние годы он и побирал порядочно; но перед смертью только и жил, что в еду и комфорт. Дом у него был отделан на барскую руку. Александр вошел с переднего крыльца. Его встретил губернского закала мрачный и грязный лакей и, проводив барина до кабинета, хотел-было тут же подать обедать.

– Накрой в столовой! – сказал ему Александр сколько мог строго, и лакей, в насмешку ли, или из угодливости, размахнул там дубовый столик, на котором прежде обедал человек по двадцати, покрыл его длиннейшею скатертью и, поставив перед прибором миску с плоховатым супом собственного приготовления, доложил барину: «готов-с!». Александр пошел и сел не без удовольствия на занимаемое прежде отцом его место.

Припомните, читатель, ваше юношество, первое, раннее юношество! Вы живете с родителями. Вам все как-то неловко курить трубку или папироску в присутствии вашего отца. К вам пришли гости, и вы должны идти к матери, сказать ей: «тама, ко мне пришло двое товарищей, прикажите нам подать чаю наверх!». Вам на это, разумеется, ничего не скажут, но все-таки, пожалуй, сделают недовольную мину. Вам ужасно захотелось маленький голубой диван, что стоит в зале, перенести в вашу комнату, и вы совершенно спокойно просите об этом отца, и вдруг на вас за это крикнут... О, как вам при этом горько, обидно и досадно! Но вот – родители ваши собрались и уехали, и вам не только что не грустно об них, напротив, вам очень весело! Вы полный господин и самого себя, и всех вещей, и всего дома. Вы с улыбкой совершеннолетнего человека ходите по зале; посматриваете на шкаф с книгами, зная, что можете взять любую из них; вы поправляете лампу на среднем столе, вы сдуваете наконец пыль с окна. Вам кажется, что все это уж ваше.

То же, или почти то же самое, чувствовал и мой девятнадцатилетний герой.

– Там в погребе должно быть вино, – сказал он, стараясь придать своему голосу повелительный тон.

– Есть, – отвечал лакей протяжно.

– Принеси мне бутылку сен-жюльена.

Лакей неторопливо пошел и принес вино вместе с подгорелым жареным. Александр налил себе целый стакан и стал из него самодовольно прихлебывать.

– Затопи камин! – распорядился он еще раз.

Лакей повиновался и, возвратясь, притащил целую охапку сырых дров.

– Затопи каменным углем; разве нет каменного угля? – воскликнул Александр.

Лакей, ни слова не ответив, унес дрова назад и вместо них принес, в поле собственного сюртука, около пуда угля и, ввалив все это в камин, принялся, с раскрасневшимся и озлобленным лицом, раздувать огонь.

Александр ушел в кабинет и там, сев за письменный стол отца, к которому прежде прикоснуться не смел, написал записочку:

«Любезный друг! Я приехал и затеваю ужасную вещь! Если ты свободен, приезжай поболтать, с сим же посланным. Мне нужно обо многом с тобой поговорить».

Написав на конверте: «Венявину», он это письмо велел свезти извозчику, а сам, надев бархатный, с талией и шелковыми кистями, халат, нарочно сшитый им в Москве для произведения в провинции эффекта, возвратился в столовую.

Там огонь уже ярко пылал в камине, зимние сумерки совершенно потухли, и стекла окон сделались как бы покрыты сзади сажей. Александр пододвинул к огню козетку и при-

лег на нее. Окружающие его предметы все более и более принимали какой-то странный вид: длинная, отделанная под дуб комната казалась бесконечною; по ней как-то величественно протягивался обеденный стол, покрытый белой скатертью. Черный буфет рококо имел какую-то средневековую, солидную наружность. Картины на стенах, изображавшие разрезанный арбуз, дыню, свеклу, мертвого зайца, свиной окорок, скорее представляли собой какие-то цветные пятна, чем определенной формы рисунки. Толстая драпировка, висевшая на дверях в кабинете, слегка, но беспрестанно колебалась.

Александру начало делаться немного страшно. Он живо припомнил покойного отца, как тот, шлепая туфлями, сходил сверху из спальни в кабинет, и теперь в самом деле в коридоре раздались как будто чьи-то шаги... Александру так и чудилось, что вот-вот над головой его раздастся гробовой голос!.. Он еще не был чужд детских ощущений. Шаги наконец явственно стали слышны. Он не вытерпел и закричал:

– Семен, кто тут?

– Это я, друг мой милый, – произнес чей-то необыкновенно добрый голос.

В комнату входил привезенный извозчиком Венявин, белокурый студент, с широким лицом, с торчащими прямо волосами и весь как бы погнутый наперед.

– Здравствуй! Садись! – произнес Александр, не переменив положения и не совсем успокоившимся голосом.

Венявин сел на ближайшее кресло.

– Как у тебя тут чудесно! Точно какая-нибудь таинственная ниша! – говорил он, оглядываясь.

Александр молчал.

– Ну скажи однако, давно ли сюда прибыть изволил?

– Дня три.

– С нею, значит, уже виделся?

Последние слова Венявин произнес, устремляя на приятеля лукаво-добродушный взгляд.

– Разумеется, – отвечал Александр и закинул как бы в утомлении голову назад.

– В таком случае извольте рассказать, как и что было, – продолжал Венявин, самодовольно упирая руки в колени и не спуская с приятеля доброго взгляда.

– А было, – отвечал тот (он все еще не спускал глаз с драпировки, которая не переставала шевелиться): – что я стал к ней в такие отношения, при которых уже пятиться нельзя! – прибавил он с расстановкой.

Венявин даже побледнел.

– Как так?

– Так!

И Александр еще дальше закинул голову назад.

– Она была, – продолжал он, закрывая глаза: – грустна, как падший ангел... Только и молила: «что вы со мной делаете?..» Но я был как бешеный! – прибавил он, сжимая кулаки.

Далее Александр не продолжал и, повернувшись вниз лицом, уткнулся головой в спинку козетки.

– Но где же и когда это было, безумный ты человек! – воскликнул Венявин, сгорая любопытством и удивлением.

– В Захарьине, на постоялом дворе, – отвечал Александр глухим голосом.

Читатель очень хорошо видит, что молодой человек тут лгал безбожно, немилосердно! Но что делать? Это была не ложь, а скорее чересчур разыгравшаяся мечта!

Огонь в камине между тем горел красноватым пламенем. Фантастическому характеру беседы стал несколько подпадать и Венявин: он сидел, как ошеломленный.

– Я всегда боялся одного, – начал он каким-то наставническим голосом: – что ты увлечешься, наделаешь глупостей и погубишь твою даровитую, скажу более, гениальную натуру!

На последнем слове он сделал ударение, как бы говоря непреложнейшую истину.

– Но из чего ты это видишь? – отозвался Александр насмешливо.

– Из всего. И как теперь эта девушка ни прелестна, в чем я нисколько не сомневаюсь, но все-таки ты должен оставить ее.

Александр молчал и не переменял положения.

– А что же с ней после будет? – проговорил он наконец.

О выдуманном им положении он рассуждал, как будто бы это была полнейшая действительность.

Венявин пожал плечами.

– Пускай винит самое себя, – сказал он с мрачным выражением лица.

«Бум!» – раздалось в эту минуту.

Александр взмахнул головою.

– Часы, должно-быть, – заметил Венявин.

В комнате в самом деле пробили полугодовалые часы, заведенные еще рукою покойного старика, и Александру почудился в них его голос. В какой-то непонятной для него самого тоске, он опять прилег. Нервы его были сильно возбуждены.

– Что же однако ты намерен делать? – не отставал от него Венявин.

– Ничего... Останусь здесь... Напишу матери и женюсь, – отвечал Александр.

– И не кончишь курса?

– Конечно.

Венявин схватил себя за голову.

– О, безумие! безумие! – воскликнул он и, очень уж огорченный, встал и отошел к окну.

В комнате воцарилось молчание, и только ходил не то треск, не то шелест, который часто бывает в нежилых, пустых покоях. На горизонте вдали, как бы огромным заревом пожара, показывалось красноватое лицо луны.

– Ты этого, друг любезный, не имеешь права сделать, – бормотал Венявин: – тебя, может-быть, ждет министерский портфель; тебя ждет родина, Александр! Ты перед ней должен будешь дать ответ за себя.

Говоря это, добряк нисколько не льстил. Он был товарищ Александра по гимназии, и теперь они вместе учились в университете. Умненький, красивый собою и получивший несколько светское воспитание, Бакланов решительно казался Венявину каким-то полубогом.

– Господи, Боже мой! – продолжал он в своем углу: – сама девушка, если бы только растолковать ей, не потребовала бы этой жертвы. Женщины рождены на самоотвержение, а не на то, чтобы губить нас.

Александру в это время, перед его умственным оком, представлялось, что Соня уже живет с ним в этом доме, и вот она, в белой блузе, вся блистающая, входит и садится около него на козетке. Он чувствует, как она прикасается к нему теплой грудью и с стыдливым румянцем шепчет ему.

– А что, если она будет матерью? – проговорил он, вдруг оборачивая к приятелю лицо.

У того при этом волосы и уши заходили на черепе.

– И в таком случае ты должен оставить ее, – сказал он, не шевелясь с места.

Ему было слишком тяжело произносить эти суровые приговоры; но что делать! – надобно было спасать приятеля, и спасать еще для блага отечества.

– Хорошо так говорить, – отвечал Александр со вздохом. – Семен! – крикнул он.

Тот вошел.

– Одеваться!

– Покажи ты мне ее, я хочу ее видеть! – проговорил Венявин, выходя наконец из угла.

В том, что приятель во всей этой истории прилыгал, он и тени не имел подозрения: он верил в силу и могущество во все стороны.

– Поезжай сегодня в собрание и увидишь, – отвечал Александр.

– В собрание-то, братец, ехать как-то не того... не привык я!

– Поезжай на хоры.

– На хоры еще пожалуй.

Семен в это время принес Бакланову его бальную форму.

– Какой ведь, чертенок, стройненький, – говорил Венявин, когда Александр затягивал ремнем свои мундирные брюки. – А воротник, брат, чудный. Чудо как вышит! – любовался он.

Все, что принадлежало Александру, Венявину казалось необыкновенно каким-то прекрасным.

– Ну, так прощай! Зайду к матери и явлюсь, – сказал он.

– Хорошо, – отвечал Александр.

Раздраженно-нервное состояние в нем еще продолжалось. Совсем уже собравшись и выходя, он сказал в передней человеку:

– Ты ляжешь у меня в кабинете, дворнику тоже вели, как и вчера, лечь в столовой, а кучеру – в лакейской!

– Кучер говорит, ему надобно-с быть около лошадей, – объяснил-было ему лакей.

– Чтобы чорт все побрал! – крикнул Александр и сел в сани.

На улице луна осветила его фигуру, экипаж, кучера и лошадь ярким белым светом.

9. Спущен на землю

Дом дворянского собрания горел всеми своими двадцати пятью окнами. Публики ожидалось довольно большое число. В каждую баллотировку обыкновенно говорили: «Ну, сегодня вся Таганка в собрание тронется». Дамы высшего общества, то есть жены мужей пятого класса, за исключением губернаторши, бывавшей тут почти по обязанности своей службы, обыкновенно не ездили в эти собрания и даже дам и кавалеров, бывавших там, называли вторичными кавалерами и вторичными дамами (собрание всегда бывало по вторникам). Надежда Павловна по своему состоянию могла вывезти дочь только в собрание. Бывать же с ней на балах и на вечерах она не имела ни средств ни знакомств.

Проиграли уже ригурнель перед кадрилию, когда Александр, с воодушевленной физиономией, вошел в залу, и первое, что взмахнул глазами на хоры: добродушное лицо Венявина уже виднелось оттуда. Александр, надев на нос пенсне и закинув несколько голову назад, начал обводить глазами залу. Он не был близорук, но носил это орудие собственно для того, чтобы представить собою человека мыслящего и занимающегося. Около балюстрады, на самом видном месте залы, он увидел Надежду Павловну с дочерью; Петра Григорьевича, к величайшему его блаженству, покинули дома.

Соня, выше почти всех других девиц, с развитою вполне грудью (Александр в первый еще раз видел ее в бальном наряде), в белом роскошном платье, на котором с удивительным умением было брошено несколько розанов, с черной косой, в которую тоже впивались два розана – весело разговаривала с высоким, стройным полковником в белых серебряных эполетах и с белым аксельбантом. В некотором расстоянии от него, но как бы стремясь к нему всем телом, стояла губернаторша. Начальник губернии, несмотря на свою гордость, тоже заметно старался держать себя невдалеке от этой группы.

Все это Александра сильно удивило.

Разговаривавший с Соней был присланный по наборам флигель-адъютант Корнеев. До какой степени он с первых своих шагов сделался любимцем всех дам, автор даже затрудняется сказать. От большей части дам только и слышно было: «У меня был Корнеев!», «Корнеев тоже рассказывал!», «Корнеев говорит, что он знаком с m-me Biardo!». И хорошо еще, если бы в этом случае прекрасным полем руководствовала любовь к изящному (Корнеев действительно был красив собою); но нет: тут лежало в основании гораздо более ничтожное, чтобы не сказать – холопское чувство.

Когда музыканты заиграли кадрили, Соня преспокойно подала руку флигель-адъютанту и пошла с ним. Это уж совершенно озадачило студента. Первую кадрилию она еще в Ковригине обещалась танцевать с ним. Несколько сконфуженный, но заложив руку за борт мундира и выпячивая грудь, он гордо подошел к ней.

– Вы обещались эту кадрилию танцевать со мной, – сказал он.

– Ах, да, pardon!.. Я и забыла... Ну, ничего, все равно, следующую, – проговорила она скороговоркой и, как ни в чем не бывало, не обернувшись к своему кавалеру.

– Да как же это? – забормотал-было Александр.

– Не могла же она отказать флигель-адъютанту, какой ты глупый! – объяснила ему напрямик находившаяся невдалеке Надежда Павловна.

Александр этим окончательно обиделся. Сделав презрительную мину, он отошел и сел на дальний стул. Наверх, на хоры он не смел и взглянуть, до того ему было стыдно Венявина. Но это было еще только начало его мучений: Соня беспрестанно разговаривала с своим кавалером, вскидывала на него свои чудные глаза и мешалась в кадрили. Чтобы не видеть этого, Александр отвернулся и с упорством школьника стал смотреть на одну точку совершенно в противоположной стороне.

Наконец подали сигнал ко второй кадрили.

Он встал и пошел. Соня в это время рассеянно стояла посреди залы.

– Надеюсь, что эту кадрили я с вами танцую, – проговорил он ей мрачно.

– Да, – отвечала Соня, а между тем глаза ее кого-то искали по зале.

Александр, став около нее, даже не предложил ей стула. Он решился быть дерзким с ней.

– Вы с таким удовольствием танцовали с вашим кавалером. Вот, я думаю, рассыпал перед вами перлы ума! – сказал он насмешливо.

– Да, он премилый, – отвечала Соня, как бы не поняв.

Александр закусил губы.

– Я все теперь вспоминаю о Захарьине! – продолжал он, переменяя тон.

– Что? – спросила Соня, как бы не расслышав.

– О Захарьине! – повторил студент и вздохнул.

В лице Сони промелькнуло что-то вроде насмешливой улыбки, но потом она вдруг вся засияла радостью. К ней, пробираясь между парами, ловкою, но осторожною походкой подходил Корнеев. Это превышало всякую меру терпения. Александр решился наговорить ему дерзостей, толкнуть его и вызвать на дуэль. Корнеев выразил Соне просьбу, чтоб она представила его матери.

– Ах, да, да! – почти воскликнула Соня и беспрестанно стала обращаться к нему то со взглядом, то с вопросом.

Корнеев отвечал ей, но стоял в некотором отдалении. Александр никаким образом не мог придаться к нему.

После кадрили Корнеев представился Надежде Павловне. У той от радости рот расплылся до ушей. Она улыбалась, кланялась, пылала румянцем. На нее Александр сердился еще более, чем на Соню.

«Презренная тварь, торгующая своей дочерью», – шевелилось в его душе.

Между тем внимание блестящего петербургского кавалера к бедной, но прекрасной собою девушке сейчас же возымело свои последствия. Отпускной конно-пионер, лучший полькер в городе, пригласил ее на польку. Эффект, который Соня произвела при этом своим высоким, грациозным станом, был выше всякого описания. Один из самых светских молодых людей, чиновник особых поручений и вряд ли не камер-юнкер, пригласил ее на кадрили, наконец сам губернатор провальсировал с нею, причем фалды на его армейском заду ужасно смешно раздувались. Но Соня и с ним была прелестна. Александр сам своими ушами, слышал, как флигель-адъютант, ходя с губернаторшей, говорил ей:

– Она первая здесь красавица.

– Поздравляю, вы уже, значит, влюблены? – замечала ему та.

– Решительно, – отвечал он, пожимая плечами.

У Александра не достало более сил переносить всей этой, по выражению его, гадости. Он вышел в другие комнаты и начал без всякой цели шляться около игроков. К нему подошел клубный лакей.

– Вас просит какой-то господин на хоры, – сказал он.

– Скажите, что не пойду, – отвечал было сначала Александр с досадою; но, сообразив, что это будет совсем уже неловко, остановил лакея. – погоди, стой! Я пойду!

И действительно вышел на хоры.

Венявин встретил его там с своим добродушно-улыбающимся лицом.

– Которая она? Та что с тобой кадрили танцевала? – спросил он.

– Да, – отвечал Александр.

– Прелесть какая, братец, а! Чудо! Делает честь твоему вкусу. Я вот давеча тебя укорял, а как теперь посмотреть на вас в паре, так бы сейчас поставил вас под венец.

Слова эти острым ножом резали сердце Александра.

– Только за ней что-то флигель-адъютант очень уж приударяет, – продолжал Венявин.

Александр ничего не отвечал.

– Да и она что-то к нему льнет! – не отставал мучить его Венявин.

– Это все нарочно... маска! – едва нашелся Александр.

– Вот оно что! – произнес добродушно добряк.

– Я с ней больше и танцевать не буду, – сказал Александр и, взглянув в это время вниз и видя, что Соня становится с флигель-адъютантом в мазурке, он прибавил: – я сейчас уеду домой.

– А я так посижу еще, полюбуюсь ею.

– Любуйся, сколько хочешь; а мне, признаться, немножко уж и это наскучило! – произнес Александр и пошел: в голосе его слышалось целое море горя и досады.

Ревность, говорят, есть усиленная зависть; в ней мы и оплакиваем потерянное нами счастье и завидуем, что им владеет другой.

Возвратившись домой, Бакланов изрыгал проклятья, рвал на себе волосы, дрыгал на постели ногами. Избалованный, а отчасти и по самой натуре своей, он любил страдать шумно.

10. Выборы

В той же самой зале, где беспечная младость танцевала и веселилась, совершалось и серьезное дело жизни – баллотировка. Если бы надобно было сказать, какая в ней преобладала партия, я не задумавшись бы сказал: губернаторская. Начальник губернии, обыкновенно очень просто и без всякой церемонии, призывал к себе несколько дворян повлиятельней и прямо им говорил: «Пожалуйста, господа, на такое-то место выберите такого-то!» И когда выбирали другого, он его не утверждал, а если нужно было предоставить на утверждение, так делал такого рода отметки: «неблагонадежен», «предан пьянству и картам»; но чаще всего и всего успешнее определял так: «читает иностранные журналы и прилагает их идеи к интересам дворянства», и выбранного, разумеется, отстраняли. В настоящую баллотировку, впрочем, все шло благополучно: по уездам она была кончена, и выбирались губернские власти. Около стола губернского предводителя толпилось дворянство в отставных военных, а еще более того в дворянских мундирах. Басардин, в своем белом кирасирском колете, в своих лосинах и ботфортах, сохраненных им еще от полковой службы, тоже стоял у окна. Лицо его не выражало ничего. Он уже баллотировался и в исправники, и в судьи, даже в заседатели; но никуда не попал. Надежда Павловна не помнила себя с горя и к тому же, ко всем ее радостям, получила письмо от сына, который начинал и оканчивал тем, что просил у нее денег.

«Как сын русского кавалериста, – писал он: – я считаю унижительным посвятить себя пехотной службе; а потому хочу выйти офицером в кавалерию. Прошу вас, маменька, прислать мне реверс, что вы обеспечиваете мне содержание».

– Ну да, я тебе дам, пришлю тебе реверс, сын русского кавалериста! – говорила бедная женщина, чуть не рвя на себе волосы.

Мужа своего она не могла видеть без нервного раздражения. Чтобы испытать последнее и почти безнадежное средство, она велела ему баллотироваться в депутаты в дорожную комиссию и сегодня, ради этого, еще до свету разбудила его и отправила. Петр Григорьевич в мундире и ботфортах с семи часов утра стоял уже в собрании. Когда он заявил о своем желании баллотироваться, губернский предводитель даже усмехнулся.

– Везде и на все считаете себя способным, – проговорил он.

– Не оставьте! – сказал как-то односложно Басардин и отошел на свое место.

При баллотировании его вышел такого рода случай, что большая часть, кладя ему шары, думали: «этому дуралею все, вероятно, положат налево, положит уж ему направо». Другие подсыпали ему белков по доброте душевной, имея привычку всем класть белые шары; третьи наконец вотировали за него, чтобы как-нибудь не выскочил на это место его конкурент, прощелыга Колоколов.

Губернский предводитель, сосчитав шары, звучным, но не лишенным удивления голосом произнес:

– Г. Басардин выбран и все почти белыми.

При этом многие не могли удержаться и, разведя руками, проговорили друг другу: «Вот вам и баллотировка наша!»

Сам же Петр Григорьевич, все продолжавший стоять у окна, слегка только вспыхнул и, раскланявшись перед дворянством, объяснил:

– Постараюсь заслужить...

– Да, да, постарайся, Петруша! – заметил ему Неплюев, сосед его по деревне и совершенно без церемонии с ним обращавшийся: – прежде только пять дураков тебе клали направо, а теперь набралось их пятьдесят. Слава Богу, совершенствуемся!

Общий хохот распространился по зале; но Петр Григорьевич нисколько этим не обиделся и сам улыбался. Он, кажется, хорошенько и не понял, в чем тут соль-то заключалась,

и затем спокойнейшим манером, достояв всю баллотировку, сошел с лестницы степенною, неторопливою походкой, сел в свои розвальни и прибыл домой.

– Выбрали... в депутаты в комиссию, – сказал он совершенно не взволнованным голосом.

– Боже мой! – вскрикнула Надежда Павловна и, истерически зарыдав, бросилась перед образом на колени. – Благодарю Тебя, Царица Небесная! Благодарю, Иисусе Христе, что не дал несчастным, совершенно погибнуть!.. – бормотала она, всплескивая руками, и потом обратилась к мужу: – Да встань и ты: помолись, бесчувственный ты человек!

Петр Григорьевич повиновался. Став на одно колено и делая, по обыкновению своему, маленькие крестные знамения, он начал молиться.

Соня, слышавшая все это из соседней комнаты, тоже прибежала.

– Мамаша! Папаша, вероятно, выбран! – вскричала она.

Последние дни она еще как-то больше развилась и стала похожа на взрослую девицу.

– Выбран, друг мой, выбран! – отвечала Надежда Павловна, а у самой слезы так и текли по впалым щекам.

Мать и дочь бросились друг другу в объятья. Соня после того бросилась на шею отцу. Петра Григорьевича наконец пробрало, и у него навернулись слезы.

– Ну, папаша, смотри же, служи хорошенько! – говорила ему Соня.

– А вот я наперед говорю, – сказала Надежда Павловна: – что если он и в этой должности что-нибудь набедокурит или проротозейничает, я разойдусь с ним... Пускай живет где хочет и на что хочет.

– Я буду служить, – отвечал Петр Григорьевич.

– Там вон, говорят, – продолжала Надежда Павловна настоятельно: – берут с каждого подрядчика по десяти процентов, и этих доходов упускать нечего: другие не попадаютсся же, и ты попадаться не должен.

– Я буду не упускать, – отвечал и на это пятидесятилетний ребенок и принялся стягивать с себя свой мундир.

– Постой, папа, я тебе помогу, – говорила Соня, очень уж довольная, что отец выбран, и что она останется в городе.

– Ф-фу, хомут проклятый! – говорил Петр Григорьевич, с наслаждением растегивая свой, чересчур уж узкий ему мундир.

Затем последовала довольно умилительная сцена.

– Людям дать водки!.. водки!.. – говорила радостно-хлопотливо Надежда Павловна, и потом, когда в комнату пришла Дарья, она сказала ей:

– Дура!.. Дарья!.. барина на службу выбрали!

– Вот, матушка! – отвечала та и почему-то поцеловала у Петра Григорьевича руку.

После обеда Надежда Павловна предложила мужу отдохнуть на ее постели, а сама от волнения не знала, где уж себе и место найти; Петр Григорьевич, конечно, сейчас же этим воспользовался и отхвatal часов до девяти. Во все это время Надежда Павловна и Соня, чтобы не разбудить его, разговаривали между собой шепотом: такого почета от семьи он во всю жизнь свою еще не видал.

11. Герой теоретик, а героиня практик

Наболевшее сердце недолго верит счастью. Надежда Павловна на другой же день начала хлопотать и охатъ: – «Ну, как Петра Григорьевича губернатор не утвердит... Ну, как он уж кого-нибудь имеет на это место...»

Соне наконец наскучило это.

– Я самого его, мамаша, попрошу, – сказала она.

– Что ты попросишь?.. – возразила ей мать с досадой.

Петр Григорьевич тоже попробовал-было успокоить жену; но на него она прямо прикрикнула:

– Хоть ты-то уж не говори! Вон на дворе: день или ночь? Видишь ли хоть это-то?

В это время Соня вдруг проговорила: «ай, мамаша!» – и убежала.

Надежда Павловна, взглянув в окно, тоже начала проворно поправлять на себе чепец и накинула на плечи свой единственный нарядный синелевый платок. К крыльцу их подъезжал на шегольской паре председателя казенной палаты флигель-адъютант. Он в первый еще раз делал им визит, хотя в собрании и на балах с одною Соней только и танцевал.

Войдя в приемную комнату и видя, что Надежда Павловна перекидывает с дивана за ширмы какую-то ветошь, Корнеев несколько сконфузился.

– Pardon! – сказал он своим слегка картавым голосом.

– У нас такая маленькая квартира... По случаю баллотировки не могли найти лучше... – отвечала Надежда Павловна, сгорая от стыда, и потом, пригласив гостя садиться, сама поместилась на диване.

По тому, какую она приняла позу, как завернулась в свой синелевый платок, можно было видеть, что когда-то и она была, или, по крайней мере, готовилась быть светскою женщиной: в ее сухощавом теле было что-то аристократическое, – свойство, которое наследовала от нее и Соня.

Петр Григорьевич между тем, помня военное правило, что чин чина почитает, продолжал стоять навтыжку, так что Корнеев заметил это и, пододвигая ему стул, проговорил: «Пожалуйста». Петр Григорьевич сел, но все-таки продолжал держать себя прямее обыкновенного.

– M-lle Sophie? – обратился Корнеев к Надежде Павловне.

– Она сейчас выйдет! – отвечала та и продолжала уже с грустью: – мужа моего выбрали в депутаты в комиссию, и теперь мы в такой нерешительности: не знаем, утвердит ли губернатор, или нет!

– Отчего же? Им так нравится m-lle Sophie! – возразил Корнеев.

– Да, но... – произнесла Надежда Павловна.

– Если позволите, я ему скажу, – присовокупил Корнеев.

– Ах, пожалуйста! – воскликнула Надежда Павловна униженно-просительским тоном.

– А вы в первый раз меняете шпагу на перо? – обратился Корнеев к Петру Григорьевичу.

– Нет, он уже несколько раз служил в штатской службе, – поспешила ответить за мужа Надежда Павловна.

Она боялась, что он, пожалуй, не поймет фразы флигель-адъютанта.

– Но все как-то не могу привыкнуть! – объяснил сам Петр Григорьевич.

– О, да! – согласился Корнеев.

Вошла Соня. Трудно понять, когда она успела поправить свой туалет, а главное, как-то удивительно эффектно завернуть свою толстую косу под одну гребенку.

– Bonjour! – сказала она развязно и, пройдя за столом мимо матери, села рядом с гостем.

Корнеев сначала как бы не находился.

– А что m-me Михреева будет у губернаторши на бале? – спросила его Соня.

– Не думаю, – отвечал он, пожимая плечами: – по крайней мере Марья Николаевна (имя губернаторши) очень не любит, когда она у нее бывает.

Соня нарочно намекнула на эту даму, имевшую привычку влюбляться во всех даже генеральских адъютантов и теперь безбожно ухаживавшую за Корнеевым.

– Вообразите, говорят, она каждое воскресенье ездит к архимандриту в гости... прилично ли это? – повторила за дочерью Надежда Павловна.

Корнеев на это молча улыбнулся: не любил он сплетен, или вообще насмешливый разговор считал не совсем приличным для общества, но только каждый раз, когда губернские дамы начинали его очень сильно пробирать по этой части, он обыкновенно принимался крутить усы и произносить скорее какие-то звуки, чем слова.

После нескольких минут молчания Соня как бы вдруг встрепенулась вся и подвинулась на диване. К ним подъезжал, тоже на щегольской серой лошади, новый гость, Александр. Увидев в передней ильковую военную шинель, он позеленел от досады. Войдя, он небрежно поклонился хозяевам и сел.

Бедный мальчик не в состоянии был скрыть волновавших его чувствований.

– Что вы у нас так давно не были? – спросила его Соня.

– Я был болен.

– Чем?

– Так, ничем!.. Как вас это беспокоит!.. – отвечал Александр и таким тоном, что все, не исключая и Петра Григорьевича, посмотрели на него, а Соня сейчас же отвернулась и начала говорить с Корнеевым.

– Покажите, пожалуйста, фокус, который вы показывали у Марьи Николаевны... Я никак не могла рассказать его мамаше.

– Ну, что! – возразил Корнеев, потупляя глаза.

– Пожалуйста! – повторила Соня.

– Но надобно карты.

Надежда Павловна сейчас же пошла и принесла карты.

Корнеев с улыбкой разложил их в форме четырехугольника на восемь кучек, по три карты в каждой.

– Тут девять... тут, тут и тут! – пересчитал он их своим красивым пальцем. – Беру четыре карты и перекладываю так: тут девять, тут, тут и тут!

Мать и дочь с удивлением посмотрели друг на друга. Петр Григорьевич тоже смотрел на фокус с глубокомысленным вниманием.

– Возвращаю прежние четыре карты, – продолжал Корнеев: – и прибавляю к ним еще четыре, перекладываю и считаю: тут девять, тут, тут и тут!..

– Но как же это? – воскликнула как бы вышедшая наконец из терпения Надежда Павловна.

– Удивительно! – сказала Соня.

– Прибавляю к этим картам еще восемь, – продолжал удивлять их Корнеев: – раскладываю и считаю, девять, девять и девять.

– Вы зачем боковые-то считаете по два раза?.. Ужасно как замысловато!.. – вмешался вдруг в разговор Александр. Голос его был в одно и то же время голосом разъяренного тигра и цыпленка. Корнеев ничего не отвечал ему, а Соня и Надежда Павловна потупились; но Петр Григорьевич окончательно дорезал молодого человека.

– Давно ли вы получали письма от вашей маменьки? – спросил он его вдруг.

– Давно-с... я сам к ней завтра еду... – отвечал грубо Александр.

Соня при этом вскинула на него свои глаза и несколько времени не спускала их с него... Вскоре потом Корнеев взялся за каску и поднялся; все хозяева устремились к нему.

– Если Марья Николаевна уже поедет кататься и заедет за вами, вы примете участие в нашем *partie de plaisir*? – сказал он Соне.

– Да, – отвечала та, выпрямляясь своим тонким станом и складывая ручки на груди.

– Она сочтет это за счастье для себя! – подхватила Надежда Павловна. «Дочь поедет кататься с губернаторшей; право, недурно для первых разов!» – подумала она в припадке материнского честолюбия.

По отъезде Корнеева, Александр тоже встал, у него готовы были слезы брызнуть из глаз, так что Надежда Павловна, вряд ли не догадавшаяся об его чувствах к дочери, сжалась над ним.

– Куда же вы?... Оставайтесь обедать, – сказала она, когда он брался за фуражку.

– Оставайтесь, – повторила и Соня.

Студент, при этом магическом голосе, не мог устоять. Рука его как бы невольно опустила фуражку, и он сел. За обедом он протянул-было ногу, чтобы, по обыкновению, пожать ей ножку Сони, и уже коснулся конца ее башмака; но ножку сейчас же отняли. Вообще Соня была заметно церемонна и только после стола, когда они остались вдвоем, она сказала Александру.

– Зачем вы так скоро уезжаете?

– Что ж мне здесь оставаться... очень весело!

– А, так вам скучно здесь; я и не знала! – сказала жестокая девочка.

У Александра дыхание застывало.

– Не всем здесь так весело, как вам! – сказал он дрожащим голосом.

Соня грустно усмехнулась.

– Желаю вам, – продолжал он, снова берясь за фуражку: – выйти замуж, народить кучу детей...

– Ну да, выйду замуж, нарожу кучу детей, – повторила за ним Соня.

– Adieu! – сказал Александр и, когда Соня подала ему ручку, он крепко сжал ее и проговорил несколько трагическим тоном: – Если я не нашел в прекрасном, так найду в дурном.

– Не понимаете вы меня! – сказала ему на это со вздохом Соня.

Александр шибко хлопнул дверьми и ушел.

Через минуту серый рысак пронесся мимо окон, с седоком.

Соня села. На глазах ее навернулись слезы. Это были первые розы, которые она вырвала из своего сердца.

12. Взор героя устремляется в другую сторону

Возвратясь домой, Александр увидел, что дорожный экипаж его был уже вывезен из сарая, а в комнатах он застал Венявина.

– Помилуй, братец, – говорил тот, топорщась, по обыкновению, волосами и руками: – после того приятного вечера... уж именно приятного, за который я тебе душевно благодарен!.. (при этом он пожал у приятеля руку) я захожу к тебе раз, два... дома нет... Сам тоже не присылаешь...

Александр нарочно не присылал и не принимал Венявина. Ему казалось, что тот непременно заметил его унижение в собрании.

– Я сейчас совсем уезжаю, – сказал он, садясь в мрачной позе.

– Как так? А разные эти намерения и планы? – сказал Венявин, изобразив из своей особы удивление.

Александр грустно усмехнулся.

– Какие тут планы! Такие пошлости и гадости пошли!

– Что такое? – спросил Венявин.

– Мать тут все крутит и мутит, – отвечал Александр.

Он был совершенно уверен, что причиной всему была Надежда Павловна.

– Да кого же, какого еще чорта им после этого надобно? Ах, они дураки этикие! свиньи!.. Извини меня, пожалуйста! – вспыхнул Венявин.

Александр сидел, погруженный в глубокую задумчивость.

– Родители! – начал он как бы сам с собой. – Для собственного своего удовольствия, может-быть, впоследствии выпитой лишней рюмки вина, они родили меня и, по чувству инстинктивной привязанности выкормили... Да это все животные, все самки имеют к своим птенцам, и за это мы должны всю жизнь им повиноваться, уважать их!..

– Именно так! – подтвердил Венявин.

Из угождения приятелю, он не прочь был и повольнотдумничать.

– Что ж, неужели она так-таки совершенно и подчинилась матери? – прибавил он с глубокомысленным видом.

– Разумеется!.. Показали ей впереди пряник с сусальным золотом, и побежала за ним.

– Да, вон они, женщины-то! Все они тут, как на ладони! – воскликнул Венявин. – Впрочем, – прибавил он, пожимая плечами: – все-таки нельзя их не любить!

Интересно было бы знать, кого этот добряк не любил, начиная с своего черного, с отбитым задом, пуделя до старухи-матери, к которой он каждую вакацию, святки, святую, на последние свои грошишки, приезжал повидаться.

– Печалиться тут нечего... я даже рад, что так случилось, – утешал он Александра.

– Я и не печалюсь, – отвечал тот: – я в жизни столько перенес, что одним больше и одним меньше щелчком от судьбы – разница небольшая.

Какие Александр получал от судьбы щелчки, это одному ему было известно.

– Я знаю, что ты – сила! – поддакнул приятель.

Вошел мрачный лакей.

– Лошади готовы-с, – проговорил он.

Александр встал и сейчас же стал одеваться. Ему поскорей хотелось оставить этот город, Соню и даже Венявина.

– Прощай, друг любезный! – говорил тот с чувством.

– Прощай! – отвечал Александр скороговоркой и, сев в повозку, торопливо и небрежно мотнул приятелю головой.

– Да, этот человек – сила! – повторил тот еще раз сам с собою.

Бакланов между тем быстро проезжал одну за другой улицы большого города, и чем дальше он ехал, тем больше появлялось огней в окнах. Когда он выехал за заставу, небо совершенно вызвездилось; кругом была бесконечная снежная поляна; в воздухе, наполненном мелькающим снегом, стали обрисовываться точно очерки каких-то фигур; колокольчик от быстрой езды заливался не переставая.

Александру было досадно и грустно.

Он усиленно старался думать о Москве, о том, как в сереньком домике, в серенькой зальце, он с панной Казимирой, дочерью хозяйки, под игру ее матери на плоховатом фортепиано, танцует вальс, и Казимира держит на него нежно-нежно устремленными свои голубые глаза, наконец он сажает ее и, сам став против нее, заметно кокетничает всею своею фигурой, а Казимира сидит в робкой и грустной позе.

Бакланов торжествует и смеется в душе.

Соня таким образом отодвинулась более чем на задний план.

У молодости никогда нельзя взять всего, богатства ее в этом случае неистощимы.

13. На распутье

У губернаторши, по случаю отъезда флигель-адъютанта Петербург, собственно для него и для самых близких ему знакомых, был назначен вечер. наугольной комнате, обитой голубыми бархатными обоями и убранной двумя огромными горками с фарфором, хрусталем и серебром, сидела Соня. Последнее время она решительно сделалась царицею всех балов и съездов: в настоящий вечер конно-пионер вертелся перед ней, как флюгер; некто князь Шлепкохвостов убежал для нее за мороженым; наконец сам хозяин, в расстегнутом нараспашку генеральском сюртуке, помещался все время около нее и как-то кровожадно на нее смотрел. Соня приехала на вечер без матери: Надежда Павловна, сшившая дочери седьмое платье, не имела на что купить ни башмаков ни перчаток. Чистое, ясное чело моей героини было на этот раз омрачено легким облачком грусти. В городе про нее Бог знает что рассказывалось. Даже в этом самом обществе две дамы, одна блондинка, с ангелоподобным лицом, а другая шатенка, тоже с чрезвычайно благообразною физиономией, ходившие вдвоем по большой зале, изливали про нее такого рода яд, что будто бы она ездила к флигель-адъютанту на квартиру. Но это было совершенно несправедливо: к нему действительно приезжала, но только не она, а m-me Михреева, которая как-никак и хоть на короткое время, но успела овладеть петербургским гостем. Соня же делала гораздо более невинные вещи. Она ему говорила:

– Вот вы уезжаете в Петербург, оставляете здесь нас бедных.

– Что делать! – отвечал Корнеев, пожимая плечами.

Соня при этом от досады пристукивала слегка и незаметно ножкой. Она видела, что этот человек неравнодушен к ней и отделяется фразами.

– Жалко ли вам здесь кого-нибудь?.. Пожалее ли вы кого-нибудь? – спрашивала наконец она его.

– Я буду жалеть все х моих знакомых, – отвечал и на это Корнеев.

Соня сегодня приехала с надеждой, что неужели же он и при прощанье не скажет ей чего-нибудь: обещается, может-быть, опять приехать; но Корнеев целый вечер играл в карты и с дамами почти не разговаривал.

– Яков Назарыч здесь? – спросила наконец Соня конно-пионера.

– Здесь-с.

– Что он делает?

– В карты играет с Корнеевым.

– Променад, вероятно, желаете сделать? – сказал ей начальник губернии, тоже вставая и идя за ней.

– Да, – отвечала Соня, обертываясь к нему с улыбкой.

Яков Назарыч Ленев был богатый подгородный помещик, холостяк. У него были своя музыка, псовая охота, дом огромный. Не выезжая шагу из своей губернии, он был действительный статский советник, так как постоянно служил то предводителем, то попечителем разных учебных заведений, а между прочим, и того пансиона, в котором училась Соня.

По наружности своей, Ленев был коротенький, кругленький толстячок, не столько с старческим, сколько с дряблым лицом, с маленькими красивыми руками. Всегда почти во фраке, с огромным солитером на пальце, он ходил, слегка притряхивая животом, и тяжело сопел, когда сидел на месте.

Соня подошла к нему и стала около него так, что очутилась прямо напротив Корнеева.

– Дедушка, вы в карете приехали? – спросила она Ленева.

– В карете-с.

– Вы возьмете меня?

– С величайшим блаженством.

– А вы дорогой меня не скушаете?

– Нет, не скушаю, – отвечал Ленев и покраснел.

Он, говорят, когда еще Соня находилась в пансионе, был влюблен в нее и даже делал об этом декларацию одной классной даме.

Во весь этот разговор Корнеев, хоть бы раз приподнял глаза от карт, как будто бы все его состояние было поставлено на них.

Соня отошла и пошла к губернаторше.

– Марья Николаевна, дайте мне конфетку, хорошенькую-хорошенькую, – говорила она, как избалованный ребенок.

– Изволь, моя милочка, изволь! – отвечала та, подавая ей из стоявших на столе конфет самую лучшую (Марья Николаевна была очень добрая женщина).

– Не хотите ли потанцевать? Я сейчас пошлю за музыкантами, – спросил любезно губернатор.

– Ах, да... или нет, нет! – воскликнула Соня.

Как ни старалась она скрыть, но она заметно была грустна. Корнеев стал собираться. Он почти по-родственному распрощался с Марьей Николаевной, взял от нее несколько поручений в Петербург; с губернатором он ушел в кабинет и долго с ним разговаривал шопотом; но Соне только мимоходом, и то как-то рассеянно, сказал:

– Adieu, mademoiselle!

– Adieu! – отвечала она ему, не вставая и не подавая руки. – «Дурак!» – подумала она про себя, когда скрылся за драпировкой кончик его сабли.

Корнеев, впрочем, так же небрежно поклонился в зале и другим дамам. Он, по самой натуре своей, был несколько фат.

– Дедушка, что же вы? – прикрикнула Соня на Ленева, который тыкался из угла в угол и искал шляпы.

– Готов-с, ожидаю, – произнес он наконец.

Соня начала прощаться с Марьей Николаевной.

– Смотрите же, доведите ее у меня бережно! – говорила та, грозя Ленеvu пальцем.

– Пять ведь лет уже нянчился с ней в пансионе, – отвечал тот дребезжащим голосом.

– Ну, уж нечего сказать: хорошо и вынянчили, – сказала Соня, сходя с лестницы и мило потряхивая головкой.

– Еще бы не хорошо! Ну, может ли быть что-нибудь прелестнее этого личика! – говорила Марья Николаевна, когда Соня надевала капор.

– Да! – подтвердил и начальник губернии.

Яков Назарыч от удовольствия и от стыда весь горел румянцем. Когда они сели в карету, Соня поместилась в один угол, а Ленев придвинулся в другой.

– У вас это свои лошади, Яков Назарыч? – спросила Соня.

– Свои.

– А что вы за них заплатили?

– За пару три тысячи.

– Ах, какие славные! Как бы я желала иметь таких.

Яков Назарыч на это ухмыльнулся.

– Как здоровье вашей маменьки? – спросил он.

– Так себе... все она в хлопотах: папенька... вы знаете, что он может... Вот он служить теперь будет, а как, еще Бог знает.

– Да! – произнес Яков Назарыч с грустью.

Он решительно не догадывался, к чему плутовочка вела разговор.

– Право, – продолжала Соня после нескольких минут молчания: – сейчас бы вышла замуж, только бы у жениха состояние было.

– Даже бы и за старика?

– Что ж такое старик!.. Стариков я люблю еще более, чем молодых.

Карета в это время подъехала к квартире Басардиных.

– Что вы, дедушка, никогда к нам не заедете? Какой вы, право! – говорила Соня, отворяя двери.

– Обеспокоить боюсь.

– Чего беспокоить!.. Приезжайте хоть завтра... послезавтра, когда хотите, – говорила она уходя.

– Непременно-с, – отвечал Ленев и, с каким-то восторгом откинувшись на задок кареты, поехал домой.

Надежда Павловна, как обыкновенно, не спала и дожидалась дочери. По выражению ее лица, она сейчас же заметила, что та была не в духе.

– Ты устала? – спросила она ее с беспокойством.

– Нет, – отвечала Соня, садясь и запрокидывая голову на спинку кресел. – Корнеев совсем распрощался... завтра уезжает... – прибавила она после короткого молчания.

– Ну, и что же? – спросила с полуулыбкой Надежда Павловна.

– Разумеется, ничего! – отвечала Соня тоже с улыбкой.

Разговор на несколько времени прекратился.

– Меня сюда Ленев подвез! – сказала Соня как бы к слову.

– А, – произнесла Надежда Павловна не без удовольствия: – славный он человек! – прибавила она.

– Отличный! – подтвердила Соня и пошла раздеваться.

Личико ее снова повеселело и точно говорило: «ничего, поправимся!».

14. Милый мальчик

Уж рассветало. На почтовой станции, последней перед губернским городом, в сырой, холодной комнатке, по искривленному полу ходил молодой офицер, в прапорщичьих эполетах, в летних калошах и в весьма легко подбитой ватой, с холодным воротником, шинели. На столе стоял кипящий самовар, чашки и раскрытый чайник, но ни чаю ни сахара не было... В углу виднелась мрачная физиономия станционного старосты, в бараньем тулупе и с тем злым лицом, которое обыкновенно бывает у непроставшихся с похмелья мужиков. Он с пренебрежением клал на стол подорожную.

– Как ты смеешь не давать мне лошадей! – говорил офицер, горячась.

– Кто не дает? Вам дают... Давайте деньги-то! – отвечал ему настойчиво мужик.

– Деньги, говорят тебе, мерзавец, там отдадут...

Мужик злобно усмехнулся.

– Велено платить вперед, не от нас эти распоряжения-то идут.

– А если меня губернатор ждет... Я адъютант губернатора!

Мужик мрачно посмотрел на него.

– У меня вот тут, – начал он, протягивая обе руки к окну: – через пять минут почта пойдет... Пишите туда. Хоть шестериком откачу, коли перепишут-то.

– Где здесь становой живет? Где?... – говорил офицер, окончательно выходя из себя.

– Станового здесь нету, – отвечал спокойно мужик.

– Да ведь есть же какое-нибудь начальство, скотина ты этакая! – говорил офицер, уже наступая на мужика.

– Да какого вам еще начальства надо?... Вон, есть бурмистр, с краю живет, – отвечал тот, нисколько не струсив.

Офицер в бешенстве схватил свой сак, в котором состоял весь его багаж, и убежал из комнаты.

– Чаю тоже спрашивал! – проговорил ему мужик вслед насмешливо и стал убирать чашки.

Офицер между тем шел по деревне. На горизонте показалось солнышко и точно яхонтом подернуло поля, деревья и крыши изб. По дороге ехал мужик в дровнях. Офицер вдруг остановился и, как бы сообразив что-то, обратился к нему.

– Ты, мужичок, в город едешь? – спросил он.

– В город, батюшка, в город.

– Довези меня, пожалуйста, за целковый или за два. Почтовых лошадей нет, а мне крайне там надо быть.

– Садися! – отвечал мужик добродушно и подвинулся.

Офицер, не задумавшись, бросил к нему в сани свой сак и сам сел. Мужик прихлестнул лошадку, и она весело побежала.

– Что это у тебя, мужичок, хлеб верно? – сказал офицер, показывая на несколько открывшуюся котомку мужика.

– Хлебушко, батюшка, хлеб!

– Что ж ты, есть себе это везешь?

– Да, батюшка!.. В харчевне-то тоже дорого.

– Ты в харчевню, значит, не пойдешь?

– Ну, как не пойти, схожу: чайку тоже попью и щей похлебаю.

– Зачем же хлеб-то тебе?

– Да так, на закусочку; ну, да и лошадке коли даю.

– Дай мне, пожалуйста, немного: я очень люблю черный хлеб.

– Покушай, батюшка, покушай! – отвечал мужик, торопливо развязывая свою котомку и подавая из нее целую краюшку, которую седок его в несколько минут и уничтожил.

Совершающий таким образом свой путь был не кто иной, как юный Басардин. Он два дня перед тем ничего не ел. Выпущенный около месяца в офицеры, он, подписавшись под руку матери, собрал со всех ее мужиков, проживающих в Петербурге, за год оброк – рублей триста; от тетки получил сначала сто рублей, потом, по новому кляузному письму, еще сто рублей – сумма, казалось бы, образовалась порядочная, – но, желая воспользоваться удовольствиями своего звания, он первоначально с товарищами покутил в Екатерингофе, где они перебили все стекла и избили до полусмерти какого-то немца, и за все это, конечно, порядочно заплатили; потом пожуйровали в Гороховой и наконец, чтобы не отстать от прапорщиков гвардейской школы, пообедали у Дюме. Таким образом, когда Басардин выехал в отпуск, у него оставалось только на прогоны. Содержал и питал себя в дороге он не столько деньгами, сколько искусством и расторопностью. В каждом побольше городе он обыкновенно с почтовой станции уходил в лучший трактир, спрашивал там лучший обед и потом, съев два-три блюда, вдруг, как бы вспомнив что-то, вставал: «Я, говорил, сейчас приду», и преспокойно уходил, а потом и совсем уезжал. В некоторых местах ему это не вполне удавалось: в Переяславле, например, половые за ним гнались, и он от них отбился уже вооруженною рукою, обнажив саблю. Теперь перед ним, посреди превосходнейшего зимнего ландшафта, в каком-то молочном от мороза свете, открывались колокольни и дома города, в котором он, после такой продолжительной разлуки, увидит мать, отца, сестру. Но из всего этого ничто не шевелило души его. Суровое корпусное воспитание и не совсем хорошие природные качества так и лезли в нем во все стороны! Выехав в город, молодой человек сейчас встал с дровень.

– Ты поезжай около меня, будто так этак едешь, а я пойду пешком, – сказал он мужику. Видимо, он имел стыд, но только не в ту сторону, в которую следовало бы.

Перед попавшеюся наконец будкой Басардин остановился.

– Где тут Басардины живут? – спросил он, толкая ногой будочника, который нагнулся было, чтобы набрать охапку дровец.

Тот поднялся.

– Где тут Басардины живут? – повторил строго офицер.

– Я не знаю, – отвечал было солдат.

– Как ты не знаешь, и как ты смеешь стоять передо мной в фуражке, а? – произнес, вспыхнув, Басардин, и трах будочника по зубам.

Тот, видя, что шутить нельзя, повытянулся немного и притянул руки ко швам.

– Их много тут, ваше благородие: где мне их всех тут знать.

– Где тебе знать? А вот где! – объяснил Басардин и съездил солдата по второй уж скуле.

– Басардины у меня стоят, – отнесся к нему проходивший мимо священник, видевший с самого начала всю эту сцену. – Вы кто такие?

– Я сын ихний.

– Через два дома извольте итти на двор, – указал священник.

– И ты тоже, братец! Под носом у тебя живут, а ты не знаешь! – укорил священник будочника.

– Поученный я, что ли? – отвечал тот сердито.

Такому беспричинному мгновенному гневу молодого офицера, конечно, много способствовало, во-первых, его звание, а во-вторых, и перенесенный им холод и голод.

15. Милый мальчик у матери и он же у тетки

– Кто там? Ах, Витя! – воскликнула Надежда Павловна, увидя входившего офицера.

– Здравствуйте, маменька! – сказал тот.

– Петр Григорьевич! Соня! Виктор приехал! – продолжала Надежда Павловна, целуя и обнимая сына. Чувство матери невольно в ней проснулось.

– Витя! – произнесла, входя и тоже непритворно радостным голосом, Соня.

– Вот кто! Ну, поздравляю! – говорил Петр Григорьевич, идя за нею. Несмотря на радушный прием, Виктор смотрел на родных мрачно.

– Там, маменька, – начал он небрежно, садясь на диван: – с мужиком надо расчесться... Сам я приехал на почтовых, а он вещи мои привез, рубль или два дать ему, – у меня мелких нет.

– Сейчас, сейчас! – отвечала Надежда Павловна и, подозвав дочь, что-то шепнула ей.

Та пошла.

Стыдно сказать, но у Басардиных в доме рубля не было. Надежда Павловна послала Соню, чтоб она, Бога ради, выпросила у попадьи хоть сколько-нибудь; а сама между тем своими руками притащила для сына тяжелый самовар, залила ему самого крепкого чаю, поставила сливок, булок.

Соня, вся пылая от стыда, исполнила поручение матери и достала денег, которых рубль серебром попадьа отсчитала ей медными пятаками. Она со смехом высыпала их перед братом. Тот отсчитал полтину.

– Прикажете, – начал он: – это отдать мужику, а если станет говорить, что мало, велите по шее прогнать.

Распорядясь таким образом, Басардин остальные деньги положил себе в карман и затем, уткнув нос в горячий стакан чая и почти мгновенно поглощая его с огромными кусками булки, ни на что уж более не обращал никакого внимания.

Соня села напротив него и старалась ласково смотреть на него.

– Какие у него кудри славные! – говорила Надежда Павловна, перебирая волосы сына.

Виктор даже не оглянулся на эту ласку и до самого обеда почти не отвечал на беспрерывные вопросы, которые делали ему мать, сестра и отец.

За столом он по-прежнему мрачно и жадно ел и, встав, сейчас же отыскал себе местечко и отправился спать.

Выспавшись, он как будто бы сделался несколько подобрее и, придя к матери, стал показывать ей свой гардероб и хвастаться им.

– Хорошо, прекрасно все это, – отвечала та ему в тон.

– Однако у тебя все это пехотное платье-то! – угораздило вдруг сказать Петра Григорьевича.

Виктор сейчас же вспыхнул.

– Что делать! Я писал-писал маменьке об реверсе, – отвечал он с гримасой.

– Не успела еще, помилуй, – отвечала было ему ласково Надежда Павловна.

– Вы для меня никогда не успеваете, – пробурчал Виктор, а потом громко прибавил: – а что, тетенька Биби далеко отсюда живет?

– Верст пятьдесят, – отвечала Надежда Павловна сухо.

Виктор заложил руки в карманы и начал с важностью ходить по комнате.

– Надобно к ней ехать! – сказал он, как бы соображая что-то такое.

Надежда Павловна при этом невольно вспомнила обиду, которую нанесла ей Биби, и письмо, которое писал к ней Виктор.

– Прежде, я полагаю, тебе следовало бы побыть у отца с матерью, – заметила она.

– А почему это следовало бы? – спросил тот.

Надежда Павловна горько улыбнулась и пожала плечами.

– Если ты этого не понимаешь, так я толковать тебе не намерена.

– Да и толковать-то вам нечего! – произнес Виктор.

Надежда Павловна начинала краснеть от гнева.

– Ты, кажется, за тем только и приехал, чтобы с первых же слов делать мне неприятности.

Виктор насмешливо посмотрел на мать.

– А вы от меня приятного ожидали?.. Вот это странно, право.

– Никогда я от тебя, по твоему уму, ничего приятного не ожидала; но, как мать, я имею право требовать от тебя уважения! – произнесла Надежда Павловна с ударением.

– Требовать могут родители, которые что-нибудь сделали для детей... Вот с нее требуйте, а с меня – нет!

И Виктор указал на сестру.

Надежда Павловна, чтобы смягчить колкость этого ответа, усмехнулась.

– Думала я, что ты глуп, но все не до такой степени! – сказала она более насмешливым, чем сердитым голосом.

Петр Григорьевич, бывший немой зрителем всей этой сцены, вдруг встал.

– Не смей так грубить матери! Не смей! – закричал он сверх всякого ожидания и погрозил сыну пальцем.

– Полноте, папенька! – прикрикнул тот на него: – ничего вы, видно, не знаете: потому я и глуп и дурак, что на вас похож и ваш сын...

– Молчи, говорят тебе!

Петр Григорьевич уже топал на него ногой.

– погоди, постой! – сказала Надежда Павловна, растирая себе горло, в котором началось удушье: – он говорит, что он твой сын; кто же у меня дети не от моего мужа?

– А вот она! – хватил Виктор, показывая на сестру.

Надежда Павловна рассмеялась.

– Ах, ты, мерзкий пашенок! клеветник! – воскликнула она.

– Братец, что ты! – воскликнула и Соня, вскидывая на него свои большие глаза и вся покраснев.

– Что ты братец! Да, любимица! – передразнил он ее. – Не хочешь ли вот этого? – прибавил он и показал сестре кулак.

Когда они еще росли, так их невозможно было пустить вместе: один, пользуясь своей силой, а другая – покровительством матери, сейчас и кинутся друг на друга. Великая история Каина и Авеля вряд ли не повторяется в каждой семье.

Последних угроз сына было достаточно, чтобы Надежда Павловна вышла из себя.

– Вон из моего дома! Вон! – закричала она истерически.

Виктора, кажется, несколько это не поразило.

– Али, вы думаете, не уйду? И уйду! – говорил он совершенно кадетским тоном.

– Ступай! Ступай! – повторил за женой и Петр Григорьевич.

– Иду-с! Слушаю-с! – отвечал Виктор, собирая пожитки и ядовито раскланиваясь перед отцом и матерью.

По двору он прошел бойко и с гордо приподнятыми плечами.

Надежда Павловна взглянула в окно.

– Боже мой, он в холодной шинелишке и без калош! – воскликнула она, да так без чувств и упала на диван.

Виктор, впрочем, преспокойно отправился на постоялый двор и нанял там извозчика, с тем, чтобы тот прокормил и свез его в долг до Ковригина.

К тетке он явился ниже травы и тише воды и, подъехав к дому, велел сначала доложить о себе. Биби даже взвизгнула, услышав его имя. Выбежав к нему навстречу, она обняла его и несколько минут держала у груди.

– Что папенька, маменька? – спросила она, несколько поуспокоившись, заставив племянника прежде всего помолиться и сводив его к дедушке, который, увидав внука, заревел диким голосом.

– Маменька, – отвечал Басардин скромным голосом: – меня прогнала.

Биби даже попятилась назад.

– Я приехал, разумеется, без средств, кроме тех, которые вы, по доброте вашей, прислали мне... (При этом он поцеловал у тетки руку). Я стал просить у них заплатить за извозчика: они раскричались.

Биби развела руками и печально склонила голову.

– Я говорю... «Маменька, говорю, я вам восемь лет ничего не стоил, можно же вам помочь мне чем-нибудь». Она еще больше рассердилась: «вон из моего дома!» – закричала...

– Да простит ей Бог! – сказала со вздохом Биби.

– Вот и теперь, тетушка, я буду просить вас заплатить извозчику.

Виктор при этом опять поцеловал у тетки ручку.

– Ах, Боже мой, сделай милость! – воскликнула она и сейчас же велела извозчика расчесть, а племянника напоила, накормила, положила его спать в лучшей комнате, велела, без всякой осторожности, прислуживать ему любимице своей Иродиаде, сама потом пришла посмотреть, хорошо ли ему.

Сердце старой девы стремилось еще любить, но только она не знала – кого.

Виктор, всем этим очень довольный, как будто бы с ним ничего неприятного не случилось, сейчас же беззаботно заснул. Он грубит матери, а к тетке подделывался по весьма простому расчету: зная, что мать бедна, и как-никак, но, по своей обязанности, будет ему помогать; а к тетке, чтобы выторгошить у нее что-нибудь, надобно было подлизываться. Лишенный всяких нравственных правил, восторгающийся только паркетом, по которому ходил в корпусе, тонким сукном, которое видел на мундирах у офицеров, и в то же время с головой, набитою какой-то бессмысленной протестацией против всего, что имело над ним какую-нибудь власть, он и в помыслах не имел, до такой степени были безобразны его настоящие поступки.

16. Причины, побудившие жениха и невесту к браку

После свидания с сыном, у Надежды Павловны сделалось кровохарканье; к вечеру она чуть не умерла, а потом обнаружилось воспаление в груди. Первое пришло ей в голову: что будет с Соней, если она умрет? Оставить ее на руках подобного папеньки и злодея-братца, – от одной этой мысли бедная мать едва не сходила с ума, а тут, как нарочно, приехал Яков Назарыч.

– Попроси его ко мне, попроси! – скороговоркой сказала дочери Надежда Павловна, под влиянием какого-то тайного предчувствия.

Соня пригласила гостя, а сама осталась в другой комнате, села и задумалась. Молоденький ум ее начинал понимать и оглядывать свое положение; с отъездом флигель-адъютанта роль ее в обществе сразу понизилась; даже добрейшая Марья Николаевна, показывавшая к ней такую пылкую дружбу, как будто бы охладела. Семь платьев ее очень хорошо были известны всем ее знакомым, а сшить в нынешнем году еще новое, она знала, нет ни малейшей возможности, а между тем блистать в обществе нарядами и общим вниманием к себе – как это приятно! Соня даже не слыхала, чтобы что-нибудь могло быть лучше этого. Тысячи планов приходили в голову ее, чтобы как-нибудь все это поправить и устроить.

– Что это вы? А? Как вам не стыдно? – говорил Яков Назарович, входя к Надежде Павловне.

Та, закутавшись в свой синелевый платок, села на постели.

– Умираю! – произнесла она, хватая себя за грудь.

– Полноте, чтой-то! – хотел ее утешить Яков Назарович, садясь невдалеке от нее.

– Да, батюшка, я не о себе! – воскликнула капризно Надежда Павловна: – давно мне, окаянной, пора на тот свет. А вот о Соне, – что с нею будет, когда я умру?

– Замуж выдавать надо! – сказал полусерьезно и полушутя Яков Назарович.

– Рада бы я была, Господи, как! – проговорила, разведя руками, Надежда Павловна. – Да где нынче женихов-то возьмешь! Где они, прах их знает!

– Да хоть бы я!.. Как это вы, сударыня, при женихе, молодом человеке, такие речи говорите! – шутил Яков Назарович.

– Женишься ли уж ты? – сказала ему тоже в шутку Надежда Павловна.

Она была очень дружна с Яковом Назаровичем и постоянно говорила ему «ты».

– Попробуйте только, отдайте! – повторил старый холостяк.

Лицо его начинало краснеть, пот градом выступал на лбу.

Надежда Павловна усмехнулась.

– Не знаю, правду ли ты говоришь, или шутишь? – произнесла она.

– Какое шучу!.. Давно уж влюблен!

– Слышала это я...

И Надежда Павловна сомнительно покачала головой.

Якова Назаровича точно кто кольнул в спину. Он привскочил с места.

– Так что же? – заговорил он каким-то необыкновенно одушевленным голосом: – состояние, слава богу, у меня есть... Всех бы вас я устроил. Что мне оставаться холостяком-то... Надоели уж эти Миликтрисы-то!..

– Чтобы ни одной их не было; всех вон! – проговорила в раздумье Надежда Павловна.

– Всех прогоню.

– Ой, какой ты смешной! – сказала она, слегка простонав.

Несмотря на шутливый тон, мысль выдать дочь за Якова Назаровича исполнила Надежду Павловну неимоверного восторга: измученная бедностью, она богатство считала

единственным счастьем в жизни и, сделавшись от болезни своей неугомонно-нетерпеливою, сказала гостю:

– Ну, так поезжай домой: я переговорю с ней.

– Не может быть!.. Будто! – восклицал толстяк, целуя из восхищения ее костлявую руку, потом расшаркался с ней и вышел в другую комнату.

– Куда же это вы, дедушка? – спросила его Соня.

– Нужно-с, – отвечал он ей с лукавою улыбкой и уехал.

– Милочка, душечка! – говорил он, сидя в карете и делая странные телодвижения: – всю тебя расцелую! Тут ямочка, тут возвышение!.. О, ангельчик!.. – говорил он, нежно целуя пустое место и тыкая пальцем в воздух.

Соня между тем продолжала сидеть на прежнем месте. Мать наконец ее окликнула. Соня перешла к ней и, взяв свою работу, поместилась на обычном своем месте. Разговор между ними начался издалека и как бы случайно склонился на Якова Назаровича.

– Что он у вас мало посидел? – спросила Соня.

– Приедет еще!.. Такой он странный, так удивил меня, – отвечала довольно нерешительно Надежда Павловна.

Она никак не предполагала, что дочь сама некоторым образом подготовила объяснение Якова Назаровича.

– А что же?

– Да сватается к тебе!

После этой фразы Надежда Павловна едва перевела дыхание.

Соня тоже вспыхнула.

– Что же вы? – спросила она с улыбкой.

– Что же я могла ему сказать! Ты знаешь, что я в этом случае не только принуждать тебя, но даже советовать считаю себя не в праве.

По суеверной любви своей, Надежда Павловна действительно дала себе слово даже не советовать дочери в этом случае.

Выражение лица у Сони было очень серьезное.

– Конечно, чем терпеть эту вечную нужду и бедность, лучше выходить замуж, – проговорила она.

– Но будешь ли ты его любить?.. Немолод он!

– Я ничего к нему особенного не чувствую, ни любви ни нелюбви, – отвечала Соня.

В это время Надежде Павловне подали ее бульон. Когда она, покушав его и чувствуя себя гораздо лучше, спокойно улеглась, Соня спросила ее:

– Что же он за ответом, стало, приедет?

– Да!

Соне, по-видимому, хотелось продолжать этот разговор, но только она немного конфузилась.

– Не знаю, что и отвечать ему! – проговорила мать в раздумье.

– Да скажите, что да! – отвечала Соня.

– Хорошо, – произнесла Надежда Павловна протяжно.

Так необдуманно и так ветренно упала для Сони завеса, навсегда отделившая непроницаемой стеной одну половину ее жизни от другой. Соня, кажется, первое слово в жизни услышала: «О, Господи! Денег нет!». Кругом нее всюду и везде говорили: «Вот женились, ни у того ни у другого ни села ни перегороды. Вот дура, нашла за кого выйти, ни чина ни должности». В самом простом быту какая-нибудь крестьянская девка, которая позвонче других поет, покрасивей, подородней других, поумней и складней на словах, и та пользуется почетом и уважением; а Соня дома, в пансионе, в свете, насколько она успела в него заглянуть, только и видела, что почитается знатность и богатство: за дурами, ее подругами, отворачи-

тельными собой, молодежь ухаживала, начальство дарило им книги за успехи в науках. Даже красоте своей Соня, после поступка с ней флигель-адъютанта, перестала давать цену. Об Александре она иногда подумывала; но он был такой еще мальчик: любви его невозможно было придать никакого практического значения!

Вечером приехал Яков Назарович, расфранченный, раздушенный донельзя и в то же время робеющий. Стараясь быть любезным, он был порядочно смешон. Петру Григорьевичу, не бывшему поутру дома, не сочли за нужное и сказать, что произошло в семействе. Впрочем, он, видя дружеское и бесцеремонное обращение Надежды Павловны с Яковом Назаровичем, несколько тому не удивился, так как и прежде еще в разговорах своих с деревенскими знакомыми, священниками и управляющими он обыкновенно объяснял: «У меня ведь жена министр по уму; с этими, там, директорами и попечителями, так за панибрата и режет!». Сам же он Якова Назаровича всегда называл «ваше превосходительство». В настоящий вечер он только обратил внимание на то, когда Соня отнеслась к Лене и сказала:

- А что, вы подарите мне лошадей, на которых мы с вами ехали?
- Подарю, подарю, целую четверку!
- А сани а joint у вас будут, как у губернатора?
- У меня уже есть такие, вдвое лучше только!

Соня, разумеется, говорила шутя, хотя в то же время нельзя умолчать, что и эта причина была одною из побудительнейших... Бедная птичка! Она замужество представляла не совсем так, как оно есть, не во всех еще подробностях.

17. Губернская тетеха

Весть о замужестве Соне за Ленева дала Надежде Павловне возможность взять по лавкам в долг всевозможных материй, и только было они со всем этим расклались, как на двор въехала карета. Соня и мать вопросительно посмотрели друг на друга.

Здоровый лакей едва вытащил из кареты потолстевшую, в трауре, барыню, которая, войдя запыхавшись в маленькую переднюю, сейчас же закричала:

– Не могла, тетушка... родная моя!.. Не могла утерпеть!..

– Ах, Аполлиария Матвеевна! – сказала Надежда Павловна, встречая гостью и целуя ее в румяную и пухлую щеку.

– Как только услышала, что вы здесь, – везите, говорю... – продолжала та, не переставая тяжело дышать и усаживаясь на диване.

Это была мать Александра, некогда стройная и хорошенькая собой девушка, а теперь какое-то чудовище. Покойный Бакланов, женись на ней, отчасти обманутый ее наружностью, а еще более того прельщенный ее состоянием, впоследствии иначе и не называл ее, как тетехой. Сына своего Аполлиария Матвеевна боготворила, хотя и возмущалась многими его поступками и словами.

В настоящем случае, впрочем, она нашла более приличным сначала заговорить о муже.

– Горе-то, нуте-ка, тетенька, какое у меня наделалось! – начала она, помахивая длинными оборками своего траурного чепца.

– Слышала, слышала, – отвечала ей Надежда Павловна.

– Все вот, бывало, говорил: «ишь, говорит, как тебя дует горой, скоро лопнешь»; а вот сам наперед и убрался.

Находясь у мужа в страшно-ежовых рукавицах, Аполлиария Матвеевна решительно была рада, что он умер.

– А это Соня моя! Вы, верно, не узнали ее, – отнеслась было к ней Надежда Павловна.

– Ай, нет!.. Как это возможно! Здравствуй, душечка! – проговорила она, проворно целуясь с Соней, Бакланова и снова принялась за свое: – в гробу-то, родная моя, говорят, лежал такой черный да нехороший.

– Замуж выходит! – попробовала было еще раз пояснить ей Надежда Павловна.

– Ну вот, поздравляю! – сказала и на это полувнимательно Аполлиария Матвеевна.

– Не прикажете ли кофею? – отнеслась к ней Соня.

– Ой, пожалуй! – отвечала Аполлиария Матвеевна каким-то сентиментальным голосом.

Сколько эта дама пила и ела, представить себе даже невозможно.

Соня принесла ей огромную чашку кофе и целый ворох сухарей.

– А Саша-то мой, нуте-ка, тетенька, – продолжала Аполлиария Матвеевна: – послала я его к тетушке: ну, тоже, думаю, может и наследство от нее быть... – объяснила она откровенно.

Надежда Павловна незаметно, но злобно улыбнулась.

– Только слышу, что он вместо того здесь, а там и в Москве... Я так и обмерла: в глазах у меня потемнело... (при этом Аполлиария Матвеевна в самом деле закатила несколько свои глаза). Писала уж и жаловалась на него братцу, Евсееву Осипычу... Он, спасибо, нарочно своего московского управляющего посылал разузнавать, тот все и описывает, все их каверзы...

На последних словах Аполлиария Матвеевна, в полнейшем отчаянии, развела руками.

Соня все внимательней и внимательней к ней прислушивалась.

– Что же такое? – спросила Надежда Павловна.

– Пьют, родная! В пору большим таким пить (Сашу своего Аполлиария Матвеевна считала до сих пор еще чуть ли не десятилетком). Управляющий-то прямо за ними в трактир и прошел: дым коромыслом стоит... двоим уж там в сенях голову холодной водой обливали... «речи говорят»... сам уж братец в письме своею ручкой прибавляет: «такие говорят, что ныне времена строгие, пожалуй, того и гляди, улетят куда-нибудь».

– Но, может-быть, это другие, и не ваш Александр, – попробовала было утешить ее Надежда Павловна.

– О, полноте-ка, тетенька! – воскликнула Аполлиария Матвеевна, махнув рукой: – первый, говорят, коновод на все. Он ведь у меня умный: не в меня, а в покойника. Как орел, говорят, так и ходит. Больно боюсь, тетенька, чтоб он распутничать не начал!

– Чтой-то, какие глупости! – произнесла Надежда Павловна, показывая Аполлиарии Матвеевне глазами на дочь, но та ничего не поняла.

– Говорят, уж и есть это... очень боюсь. Научите меня, тетенька, вы у нас умная этакая, что мне делать-то?

– Напишите ему письмо построжее.

– Писала, родная... Священника и сочинить-то просила, чтобы поскладней вышло. Таково чувствительно написал... Так ведь что они, балбесы? Только то и отвечает: «Вольно вам, маменька, говорит, всяким глупостям верить».

Надежда Павловна, чтобы как-нибудь поскорей прекратить этот визит, ничего ей не отвечала.

– Сама, тетенька, думала ехать в Москву-то, да тоже думаю: они там меня совсем засмеют! – заключила Аполлиария Матвеевна и затем, видно, выболтав все, что ей нужно было, поднялась.

– Прощайте, тетенька! Неужели в этих конурах вы свадьбу-то станете делать!.. Наняли бы дом у меня... И то уж с полгода стоит без постояльцев, разоренье такое! – прибавила она, уходя и по-прежнему небрежно прощаясь с Соней.

Мать и дочь, оставшись вдвоем, молчали.

Соня стояла у окна. В светлых глазах ее блестели слезы. Печальный образ прощавшегося с ней Александра невольно восстал перед ней.

Слова, сказанные им при прощаньи: «Если я не нашел в прекрасном, то найду в дурном», значит, были не фраза.

– Мамаша, я поеду прокатиться! – проговорила она.

– Поезжай! – отвечала та.

Яков назарович, зная наклонности невесты, подарил ей чудесные чухонские саночки, с красивым кучером и с превосходным вороным рысаком.

Соня почти каждый день ездила кататься в своем экипаже, и теперь, сев в него и уставив свое хорошенькое личико против мороза, велела себя везти скорей-скорей. Ей хотелось как-нибудь поразмыкать свое горе. Она пролетела таким образом площадь, Ивановскую улицу, Калязинскую, но потом вдруг, как бы встрепенувшись, закричала кучеру:

– Постой! стой!

Тот остановился.

– Monsieur Венявин! – крикнула Соня студенту в плоховатой шинели, смиренно проходившему по снежному тротуару.

Тот обернулся и, узнав, кто его кличет, подошел улыбаясь, краснея, застегивая свой вицмундир и приглаживая волосы.

– Pardon, monsieur Венявин, что я вас беспокою! – сказала Соня (Александр неоднократно говорил ей о своем приятеле и даже показывал ей его). – Parlez-vous francais? – прибавила она.

– Ah, oui, madame! – отвечал Венявин, страшно конфузясь и варварски произнося.

– Aves-vous l'adresse de monsieur Бакланов?

– Oui, madame! – отвечал Венявин, сделав все умственное усилие, чтобы понять то, что ему сказали.

– Je vous prie de lui envoyer un petit billet de ma part... Нет ли с вами карандаша? – последние слова Соня нарочно сказала по-русски.

– Oui, madame! – отвечал торопливо Венявин и выхватил из бокового кармана карандаш.

Соня от обертки, в которую завернута была материя, взятая ею, чтобы переменить в лавках, оторвала клочок бумаги и написала на нем: «Вы безумный человек! Вас любят, но что же делать!.. Того не велит Бог и люди, и если теперь выходят замуж, так, может-быть, затем, чтобы посмеяться над святым таинством. Прощайте, не делайте глупостей и забудьте душой вашу Софи».

– Votre parole d'honneur que vous ne lirez pas mon billet et m'en garderez le secret! – говорила Соня, подавая ему бумажку.

Само небо, кажется, осенило голову Венявина, что он понял эту фразу и даже ответил на нее, таким образом:

– Oui, madame, je prendai moi cette... j'ai reterde ici; mais aujourd'hui je partirai a Moscou!

– Merci! – сказала Соня и, пожав красную и неуклюжую руку студента своею хорошенькою ручкой, затянутою в французскую перчатку, сказала кучеру: «В гостиный двор!», и как стрела скрылась из глаз. Венявин тут только сообразил свою ошибку.

«Ах, я болван, болван! Ей ведь еще следует говорить mademoiselle, а я бухнул madame!» – думал он и с досады готов был прибить себя.

Придя домой, он тотчас запрятал драгоценное послание сначала в карман своих лучших брюк, а потом брюки эти засунул в треугольную шляпу, и ту положил на самый низ чемодана.

18. Сын, возвращающийся с раскаянием

Юный Басардин начал преприятно жить у тетки. Она ему нашла белья, велела навязать карпеток и наконец, от имени бабушки, подарила старинные золотые часы. Виктор, в свою очередь, стал входить и помогать ей несколько по хозяйству. У Биби был один задельный мужик, ужасный грубиян: как только напивался он пьян, сейчас же с пеной у рта являлся перед барышними окнами.

– Барыня!.. барыня!.. угорела барыня в нетопленной горнице... – напевал он, приседая и делая другие глупости.

Иногда даже он ловил ее в церкви, когда она выходила оттуда.

– Сторонитесь, сторонитесь, улита едет, наша барыня... госпожа... – говорил он, расталкивая перед ней народ.

Биби его за это наказывала, возила в рекруты отдавать; но не проходило и полугода, как он снова повторял свои шуточки, которые вздумал выкинуть и при Викторе. Тот его, на месте же преступления, схватил за шивороток, пригнул к земле и, из собственных рук, так отзвонил плетью, что даже другие мужики, стоявшие невдалеке при этом, почесав в затылке, проговорили: – «Это уж, брат, видно, по-настоящему, по-военному!», а сам наказанный ничего не объяснял, а только слезливо моргал носом.

Очень довольная всем этим, Биби начала говорить про племянника:

– Преумный и превнимательный... На что я, кажется, глазом посмотрю, и то он видит!

Когда она постыдила Виктора, что как это он, такой большой, не умеет читать по-славянски, он сейчас же подучил и, уже довольно бойко разбирая титлы, стал по вечерам читать тетке, по ее указаниям, некоторые места из Четвы-миней. Происходившие при этом сцены были довольно оригинального свойства: зеленая гостиная обыкновенно освещалась двумя сальными свечками; молодой офицер, с самым смиренным выражением, глядел, не поднимая глаз, в книгу и произносил:

– И бы Афанасию страх велий!

Биби при этом как-то порывисто нюхала табак и принималась торопливо распускать свое вязанье. Это означало, что она сильно была тронута.

Бабушка-майор, тоже вывезенный на своих креслах слушать, начинал понемногу высовывать язык, а потом все больше и больше, и наконец вытягивал его почти что до половины.

– Папенька, опять язык! – вскрикивала на него Биби.

Старик сейчас же убирал орган слова в надлежащее место, но потом, через минуту, начинал его снова выпускать понемногу: зачем он это делал, никто у него допроситься не мог.

«И приидоша к нему беси», – продолжал между тем Басардин, невольно улыбаясь. У него самого в это время были порядочные бесенята в голове.

«Коли так все пойдет, так с тетки-то рублей пятьсот сорвать можно будет!» – думал он и продолжал читать: – «Отыидитие от меня, окаянные, рек Афанасий».

«А Иродиадка все отвертывается!» – вертелось в это время в голове молодого человека, и голос его делался совершенно невнимателен.

– Ну, будет, друг мой! – говорила Биби, думая, что он устал.

Виктор закрывал книгу, осторожно подавая ее тетке и сам, усевшись смиренно в кресло, задумывался. В эти минуты его волновали самосильнейшие страсти: с некоторого времени он решительно не в состоянии был равнодушно видеть стройного стана Иродиады и ее толстой косы, красиво расположенной на затылке.

– Иродиада, куда ты! Постой! – говорил он ей, когда она, вечером после ужина, приходила и ставила ему графин на стол.

Первоначально Иродиада отвечала на это одним холодным взглядом, но Виктор протер свои искательства и дальше.

– погоди, постой! – говорил он, встретив ее раз в темном коридоре.

– Барин, что вы? Перестаньте... Право, тетеньке скажу! – проговорила Иродиада, стараясь поскорее пройти мимо него.

– Ну да! как же! скажешь! – говорил Виктор и сделал чересчур смелое движение.

Иродиада сердито оттолкнула его и прошла.

Биби она в самом деле, должно быть рассказала, потому что та была день или два очень суха с Виктором. Злоба в душе его забушевала. Поймав снова Иродиаду в коридоре, именно после описанного нами чтения, он остановил ее.

– А, так ты ябедничать! – произнес он и так распорядился, что Иродиада, для спасения себя, сначала толкалась, а потом укусила ему плечо.

– Ты еще кусаться! – проговорил Виктор и схватил ее за косу.

Иродиада закричала на весь дом:

– Батюшки, бьют!

На этот крик со всех сторон высыпали девки со свечами и сама Биби.

– Она мне грубит! – сказал Виктор, указывая на Иродиаду.

– Матушка, вся ваша воля, – отвечала та, поправляя свою косу и куда-то мгновенно скрываясь от стыда.

– Виктор Петрович, что это такое? – произнесла Биби.

– Виктор Петрович!.. – передразнил ее Виктор: кадетская натура его не выдержала при виде сморщенного и сердитого лица тетки. Кроме того, он был очень уж взбешен.

– А, так вы так! – произнесла Биби и сейчас же удалилась.

Из всей этой сцены она очень хорошо поняла, что это за господин, и просто струсила его. Он, пожалуй, до того дойдет, что и ее приколотит; а потому на другой же день, не входя с ним ни в какие объяснения, когда Виктор еще спал, она, запрятав старого отца и Иродиаду в возок, сама села с ними и уехала на богомолье, верст за триста, захватив с собою все ключи от чая, сахару и погреба. Молодой человек остался таким образом снова без всякого содержания. Первоначально он стал было всего требовать от ключника, но тот отвечал, что у него нет ничего. Басардин, делать нечего, решил ехать обратно в город, хватить там по боку дедушкины часы и с этой суммой прямо отправиться в Петербург. Но на постоялом дворе, у Никиты Семенова, он встретился с одним помещиком, возвращавшимся из города.

– Ваша фамилия? – спросил тот.

– Басардин.

– Это не ваша ли сестрица выходит замуж?

– Должно быть, моя! Я не знаю, я только еще еду к ним. За кого же она идет?

– За очень хорошего человека.

– И богатого?

– Да, с большим состоянием. И она-то ведь прелестная. С вами вот имеет немалое сходство.

– Да, она премилая, – отвечал Виктор, и в голове его сейчас же изменился план.

Приехав в город и остановясь в номере, он тотчас же сел и написал к матери письмо.

«Дражайшая маменька! Я сознаю теперь вполне, что я блудный сын, но когда тот сказал отцу своему: „Отче! я согрешил на небо и пред тобою“, отец сказал: „Иди в дом мой! Заколите тельца и празднуйте: сын, которого я считал мертвым, – жив“. Сделайте, маменька, и вы то же!»

«Тетенька, хоть Богу и молится, но дела ее далеко тому не соответствуют, и великую поговорку: что нет такого дружка, как родная матушка, я узнал теперь вполне».

Отправив это письмо, Виктор заранее был уверен в его успехе.

Чему другому, а некоторым практическим соображениям и тому, как в известных случаях действовать, его научили в корпусе.

19. Сын, еще не чувствующий никакого раскаяния

Надежда Павловна в этот вечер, как нарочно, была совершенно счастлива. Мало того, что Петра Григорьевича утвердили в должности, – но сама губернаторша обещалась к ним приехать посидеть вечером.хлопот, и самых, разумеется, приятных, было, по этому случаю, немало. Дарья еще с раннего утра все мыла: полы, окна, двери, а потом, часам к семи, и сама нарядилась в накрахмаленную юбку и в подаренное ей барыней старое шерстяное платье, и как пава ходила в нем из кухни в горницу и обратно. На воощенном столике, покрытом камчатною скатертью, зажжены были две стеариновые свечи, а на столике под зеркалом еще две, так что свету было, пожалуй, пущено более, чем следует. Накурено Сониным одеколоном на горячем уюте тоже достаточно. Для десерта куплены были яблоки и виноград, так как Марья Николаевна обещалась приехать не одна, а с маленьким сыном своим Колей, который, как смеялись сама мать и все близкие знакомые, был не на шутку влюблен в Соню, называл ее своею невестой и все хотел застрелить из ружья Ленева, который, говорили, отнимает ее у него.

Когда губернаторша, дама в таком ранге, в своем шумящем шелковом платье, в своем дорогом блондовом чепце и наконец с своим ангелоподобным сыночком Колей приехала и уселась в маленькой квартирке Басардиных, – так эту сцену несколько даже трудно вообразить себе. Надежде Павловне было необыкновенно совестно и приятно. Петр Григорьевич, начавший умыться и обрядиться чуть ли не раньше всех и при этом обнаруживавший такое фырканье и отхаркивание, что даже дочь ему заметила: «что это, папенька, вы точно бегемот!» – Петр Григорьевич сильно трусил. В продолжение всего вечера, каких жена не делала ему знаков руками и глазами, он ни за что не хотел сесть.

Надежда Павловна как-то подобострастно занимала губернаторшу. Соня играла с Колей. Милый ребенок изобрел такого рода забаву: он целовал у Сони руку взапас, то-есть хватал ее ртом своим и втягивал в себя воздух, так что на руке появились пятна.

– Перестань, – говорила ему Соня.

Но влюбленный крошка не унимался и хотел было насосать ей и лицо.

– А, когда так, так ступайте же! – сказала Соня сердито и спуская его с колен.

Она не на шутку испугалась, что он испортит ей и лицо. Игру эту Коля изобрел с одною из горничных.

– Пусти! пусти! – говорил он, хватая Соню за платье.

– Ну, так я и совсем уйду! – сказала она, в самом деле уходя в соседнюю комнату, и, притворив дверь, заперла ее задвижкой..

Коля стал плечиком и ножками стучать что есть силы в дверь.

– Коля! Коля! перестань! – полуунимала его мать.

Марья Николаевна принадлежала к тем нежным матерям, которые воспрещать что-либо птенцам своим считают за какое-то святотатство.

– Чего этому ангелу, в котором все чувства так еще чисты, можно не опзвolyть! – говорила она.

Коля до сих пор жил так, как будто весь мир был создан для услуги ему: у него были игрушки, маленькие лошадки, конфеты. Даже сам кровожадный родитель ни в чем не препятствовал: ненавидя почти весь род человеческий, он свой собственный кусок мяса, отторгнутый от него и получивший отдельное существование, боготворил.

Коля у дверей наконец заревел.

Надежда Павловна начинала сильно конфузиться и хотла было послать Петра Григорьевича, чтоб он велел Соне выйти занимать маленького гостя, но Дарья в это время внесла на подносе яблоки и виноград. Коля сейчас же устремился к этим любезным ему предметам.

Мать и хозяйка сейчас же поспешили усадить его и надавали ему всего, чтобы только он не плакал. Соня таким образом получила возможность выйти и села уже подальше от шалуна, который однако не переставал на нее плутовски поглядывать: протянет и будто дает ей яблоко, а потом сам и возьмет его назад. Соня делала вид, что ничего этого не замечает.

Надежде Павловне подали письмо. Сначала она, взглянув на адрес, несколько сконфузилась, но, прочитав, улыбнулась и, подавая его дочери, проговорила:

– Посмотри!

– Да! – отвечала и та с улыбкой.

Надежда Павловна встала и, извинившись перед губернаторшей, сама вышла к посланному.

– Скажи Виктору Петровичу, что мне писать к нему некогда и нечего: у меня гости... губернаторша... пускай бы сам приезжал.

Виктор через пять же минут явился, прифранченный, в шпаге и каске. У матери он поцеловал руку с нежностью, с сестрой поцеловался с улыбкой и поцеловал также руку у Петра Григорьевича, который от удивления не знал куда и глядеть: как сын тут попал, откуда, и почему его пустили, ничего он этого не понимал.

Губернаторше Виктор раскланялся модно.

Надежда Павловна поспешила его отрекомендовать.

– Старший сын мой!

– Вот уже какой! – произнесла Марья Николаевна, осматривая молодого человека: – как приятно для матери дожидаться детей в таком возрасте! Вот вы теперь офицер: сколько, я думаю, удовольствия и радости доставляете вашим родителям.

– Да, разумеется! – отвечал совершенно бесстыдно Виктор.

«Много от него удовольствия и радости!» – подумала Надежда Павловна.

– Вот у меня так еще мал... мне долго не дожидаться. А может быть, и совсем не дождусь, – произнесла, почти со слезами на глазах, Марья Николаевна.

«Немного, кажется, и ты-то от своего постреленка радости получишь!» – подумала Надежда Павловна, а потом, обратясь к сыну, она спросила:

– Хорошо погостил у тетеньки?

– Да-с, она теперь на богомолье уехала.

– Что такое? Прежде она в такую распутицу никогда не ездила.

– Не знаю-с!.. А мне на станции рассказывали, что Соня помолвлена, – прибавил Виктор скромно.

– Да, за богача и за генерала... за прекрасного человека, – ответила Надежда Павловна.

– Бесподобный человек! бесподобный! – подтвердила Марья Николаевна.

– Ну, так вот, значит, поздравляю! – проговорил Виктор, нежно смотря на сестру.

Коля между тем, заметив у нового гостя саблю, перебрался к нему.

– Что это у тебя, сабля? – спросил он его дерзко.

– Сабля, душенька! – отвечал Виктор.

– Дай мне!

Виктор вынул.

– Не беспокойтесь: она не отпущена, – успокоил он Марью Николаевну.

– Это каска? – спрашивал Коля.

– Каска!

– Дай мне ее.

Виктор сейчас же ловко подвернул в каску платок и надел ее на голову Коле. Мальчик, с обнаженной саблей, стал ходить и маршировать по комнате.

– Ах, да он отлично марширует!.. Прекрасно! прекрасно!.. раз, два!.. раз, два!.. – командовал Виктор. – Чудесно! – прибавил он, обращаясь к Марье Николаевне, которая была в упоении.

Петр Григорьевич, думая, что сын в самом деле искренно хвалит Колю, тоже повторял: – «Отлично! бесподобно!».

– Удивительный ребенок! – восклицал Виктор.

Марья Николаевна наконец начала собираться домой, но Коля никак не хотел оставить ни каски ни сабли.

– Полно, душечка, как это возможно! – заикнулась было мать.

– Нет, нет, мамаша!.. – закричал он, задрывав руками и ногами.

– Боже мой! оставьте у него, – говорил Виктор.

– Но мне, право, совестно! – произнесла жеманно Марья Николаевна.

– Нет, нет, мамаша, – повторял Коля и разревелся так, что его едва сунули в карету, не взяв у него ничего.

Когда проводили губернаторшу до сеней и все возвращались в комнаты, Виктор подошел к матери.

– Маменька, я могу у вас остаться? – проговорил он несовсем твердым голосом.

– Останься, тебе комната приготовлена, – сказала Надежда Павловна, показывая на видневшуюся через сени комнату, и затем, ничего больше не сказав, ушла к себе.

Виктор на несколько мгновений попризадумался, а потом повернулся и пошел в показанное ему место.

20. Капелька поэзии и море прозы

Последнее время у Сони гостила дочь их хозяина – священника, Маша – молоденькая, прехорошенькая собою девушка, преумненькая, но в то же время пресмешная: повеселиться, похотеть, а пожалуй, и поплакать была охотница. Сначала она робко ходила к Соне, а потом все чаще и чаще, и теперь выпросилась у Надежды Павловны шить Соне свадебное белье. Дела этого она была великая мастерица: точно по линейке, по размеру, ее маленькая ручка выводила мельчайшие строчки на белье. Сама Соня не умела иголки взять в руки.

Они уже с час сидели вдвоем. Соня, чем ближе подходила ее свадьба, тем становилась грустней и грустней. Маша между тем все что-то егозила на стуле.

– Софья Петровна, можно свадебную песенку спеть? – проговорила наконец она робко.

– Спой, – отвечала та.

Маша звонким, но в то же время мягким голосом запела:

«Не на девичье гулянье
Собирается, снаряжается
Наша Сонюшка».

– Ох, полно – перестань, не надсажай ты меня, – воскликнула вдруг Соня и залилась горькими слезами.

– Чтой-то, барышня, вы все плачете? Хорошо ли это! – утешала ее Маша, сама готовая расплакаться.

– Тошно мне, Маша, тошно! – говорила Соня, пересаживаясь к подруге и обнимая ее. Маша была совсем счастлива.

– Что же вам тошно-то? – спросила она.

– Замуж не хочется итти... – Соня не кончила.

– Али вам не люб жених-то?

– Да... Я люблю другого! – прибавила Соня уже шопотом и скрывая свое лицо на груди Маши.

– Дело-то какое! – произнесла та, качая головой: – для-че ж вы, барышня, за того-то нейдете?

– Молод он очень, да и мать у него скверная! – произнесла Соня.

– Поди ты! – удивлялась Маша.

– А тебе, Маша, нравится кто-нибудь? – спросила Соня, уставляя на подругу свое пылающее лицо.

– Нету еще, – отвечала та наивно: – вон к папеньке семинаристы ходят, да нехороши только: нескладные такие!

– А что, Маша, как выйдешь замуж, другого любить грех?

– О, что за важность, ничего! Вот в нашем званьи, так нельзя!

– Отчего же у вас нельзя?

– Ну, батюшку-то расстригут, как попадейка-то полюбит другого.

– Стало-быть и нам нельзя! – проговорила Соня печально.

Так журчали их тихие голоски, как бы чистый, маленький ручеек среди неприступных скал и гор окружавшей их действительности.

Но дверь распахнулась, и вошел Виктор, тоже один из порядочных обломков, задерживающих их в человеке всякое искреннее чувство. Соня сейчас же поспешила обтереть слезы и сделала вид, будто бы смотрит на работу Маши. Та, в свою очередь, не смела глаз поднять:

Виктор и ее, как Иродиаду, ловил в сених. На этот раз, впрочем, он был очень серьезен и важен. Вслед за ним приехала Надежда Павловна. Виктор отнесся к ней как-то свысока.

– Что Яков-то Назарыч так долго делает в Москве? – спросил он ее вдруг.

Надежда Павловна посмотрела на него.

– Известно что!

– Он, говорят, там лечится?

Надежда Павловна еще с большим удивлением взглянула на сына.

– Кто ж это тебе сказывал?

– Водой, говорят, лечится; хорош жених! – отвечал Виктор насмешливо.

При всем старании, он никак не мог скрыть ненависть к сестре, и, кажется, величайшим бы счастьем его было ее несчастье.

Надежда Павловна сейчас же поняла, к чему он это говорил.

«Этакое ехидное животное!» – сказала она мысленно себе и спросила его вслух суровым голосом:

– Что, долго ты здесь пробудешь? Долго еще продолжится твой отпуск?

Виктор, заложив руки в карманы, отвечал с важностью:

– Я здесь совсем остаюсь... поступлю к губернатору в адъютанты.

Надежда Павловна почти затрепетала от страха.

– Разве тебя берут? – спросила она.

– Вероятно! – отвечал Виктор.

Он, действительно, после первого же знакомства с Марьей Николаевной, начал беспрестанно ездить к ним в дом, ужасно как умел подделываться, взялся учить Колю гимнастике, и для этого были нарочно, по его рисунку, сделаны гимнастические орудия: лестница и козел.

Виктор был мастер производить все эти штуки и так увлекательно это делал, что, не говоря уже о Коле, который за ним лазил как сумасшедший, даже сама Марья Николаевна, несмотря на свою полноту, увлеклась и полезла было на лестницу. Виктор при этом слегка поддерживал ее и умел так это сделать, что Марья Николаевна несколько даже сконфузилась, и когда слезла с лестницы, то проговорила:

– Какой вы шалун!

Начальнику губернии тоже нравилось это удовольствие. Часто, сидя у себя в кабинете и занимаясь подписыванием бумаг, он вдруг вставал, приходил в залу и начинал там прыгать на козла взад и вперед, а потом, как бы ничего этого не делав, возвращался к себе в комнату и снова начинал подписывать.

– А что, в губернаторских адъютантах есть доходы или нет? – спросил после неоторых минут размышления Виктор, обращаясь к матери.

– Не знаю! – отвечала Надежда Павловна. – «На что другое, а на это видно есть толк, этаким мерзавец!» – невольно подумала она.

В комнату вбежала Дарья.

– Яков Назарыч приехали-с! – объявила она, а вслед за ней входил и сам Яков Назарович.

– Сейчас только въехал в город и сейчас, не выходя из повозки, к вам! – проговорил он. В руках он держал огромный поднос, на котором грудami были навалены бриллиантовые и золотые вещи, разные фантастические корзинки и дорогие конфеты.

Двое лакеев несли за ним свертки дорогих материй, кружев и куньи меха.

Все, не исключая и наивной Маши, как бы преклонились перед ним с благоговением, а Виктора от зависти даже подергивало.

21. Невольный протест.

Церковь Николы Явленного, самая аристократическая в городе, виднелась своею черной массой на огромной площади. По всем ее карнизам горели, колеблясь пламенем во все стороны и воняя скипидаром, плошки. В самой церкви, сырой и холодной, стояла толпа певчих, в своих голубых, обшитых галунами, кафтанах. Между ними происходил легкий говор, как бы вроде перебранки.

– Где у тебя Бортнянский-то? – говорил совсем низкой октавой бас, и при этом у него изо рта вылетал пар.

– Там, в нотах! – отвечал ему тоненькою фистулой дискант, тоже испуская пар из ротика.

– Там только альтовая партия, дьявол! – заключал бас и давал бедному ребенку такой подзатыльник, что тот взмахивал на него свои голубые глазенки и удивленным личиком как бы говорил: «Ну, брат, такого еще никогда не бывало».

Три мужика, с помощью высочайших лестниц, зажигали три главные паникадила, свеч по сту в каждом. Жених, с приподнятою на накрахмаленном галстуке головой, завитой, раздушенный, в белых генеральских штанах и в синем ученом мундире, был уже в церкви и, как петушок вертелся около Марьи Николаевны (она была почетною дамой с его стороны).

– Будуар у меня обит белым атласом, а мебель розово-светлою материей, и из белой слоновой кости трюмо, – рассказывал он.

– Да, да, – гооврила с чувством Марья Николаевна.

– В гостиной рытые под бархат голубые обои, а зала под мрамор, – объяснял Яков Назарович.

– Да, да, – подтверждала добрая губернаторша.

Между тем сынок ее, Коля, непременно хотевший быть в церкви в качестве шафера привезший образ, теперь в одном из дальних углов возился со своею гувернанткой-англичанкой, которая напрягала все свои почти неженские силы, чтобы удержать его: он все рвался у нее, чтобы раскатать одну из перед-иконных лампад и посмотреть, как она треснется об стекло, что он перед тем и сделал раз.

«Невеста!» – раздалось наконец в церкви.

Жених повытянулся и еще как-то больше засеменял ножками. Двери распахнулись, и Соня, в сопровождении Аполлинии Матвеевны, разодевшейся во всевозможные цвета – синий, красный, желтый, вошла в церковь. Ее вел под руку, с перетянутою, как у осы, талией и гремя по церковному полу саблей, Виктор. Соня, по-видимому, употребляла все усилия над собой, чтобы не рыдать. Лицо ее было бледно и судорожно: она окончательно уже понимала, что продает себя, и хотела по крайней мере сделать это так, чтобы было за что: одно подвенечное платье ее стоило тысячи три, на лбу ее горела бриллиантовая диадема в пять тысяч.

«Гряди!» – запели верховые басы. «Гряди!» – выводили за ними дисканты. «Гряди!» – поддавали октавы, и одна из них, дольше других протянувшаяся, как бы падучею звездой прокатилась по церковному своду. Соня невольно затрепетала всем телом и затем, устремив взор на символическое изображение Святого Духа, делаемое обыкновенно над церковными воротами, не спускала с него глаз. Сделать это умоляла ее ехавшая с ней в карете Аполлиния Матвеевна, говоря, что будто бы это необходимо для будущего семейного счастья. Вслед затем приехал к губернаторше адъютант ее мужа и привез ей теплую мантилью; за ним приехал сам начальник губернии, за которым явился, разумеется, полицеймейстер. По дружбе к Якову Назаровичу, приехали губернский и уездный предводители. Вице-губернатор, живший против самой церкви, тоже пришел полюбопытствовать на венчанье. Вышли священник

и дьякон, в самых дорогих ризах, – один с евангелием, другой с кадилом; по церкви распространился запах самого чистого, ливанского ладана. Начался обряд. На вопрос священника: «не обещалась ли?...» Соня отвечала: «нет». Голос ее при этом слегка задрожал. Когда надели на них венцы, Яков Назарович был решительно смешон, а Соня, напротив, была царственно хороша: как белая лебедь, ходила она в своем венчальном вуале, с потупленной головкой и с обнаженными руками, вокруг налоя.

После венчания двери церкви снова распахнулись, молодая вышла и села уже с мужем в его дормез, преисполненный шелку и пружин. Широкие, лаковые козлы кучера имели решительно характер королевских экипажей; шестеро серых жеребцов, в серебряной сбруе, могли быть уподоблены баснословным коням. Яков Назарович вез молодую супругу в свою подгородную деревню, расположенную сейчас же за рекой, на красивейшем противоположном берегу. Проехав площадь, надобно было спускаться под гору. Экипаж окружила со всех сторон темнота. С реки, как из пропасти, потянуло сырым, порывистым, апрельским ветром. На самом льду, чтобы как-нибудь экипажи не сбились с дороги и не попали в полыньи, их встретили, по приказанию Якова Назаровича, человек двенадцать верховых людей, с зажженными факелами. Свадебный поезд как бы превратился в погребальную процессию.

– Что это, меня точно хоронят! – проговорила Соня испуганным голосом.

– Нету, моя душечка, нету, моя кралечка! – говорил супруг, нежно целуя ее ручки.

Но Соня дрожала.

Лошади потом дружно внесли экипаж в гору и остановились перед освещенным крыльцом, где молодых встретила целая толпа лакеев, в белых галстуках и жилетах, а в зале под мрамор стояли Надежда Павловна и Петр Григорьевич с образами и стриженная, помешанная сестра Якова Назаровича, Валентина, лет шестидесяти девица, проживавшая с ним и воображавшая, ни много ни мало, что она пленяет всех мужчин. Ее тоже вывели благословить брата.

– Покажи-ка, покажи свою молодую! – говорила она, прищуривая глаза.

Яков Назарович подвел к ней Соню.

– О, недурна! Черна только! – произнесла помешанная.

Соня была бела как мрамор, но Валентина совершенною красавицей считала только самое себя, и потом, когда начали приезжать губернатор, вице-губернатор, предводитель – мужчины все видные, она то на того, то на другого стала кидать нежные взоры, раскланивалась, расшаркивалась перед ними, так что ходившая за ней горничная девушка сочла за нужное увести ее.

– Полноте, барышня, ступайте! Пора к себе в комнату, – сказала она, беря ее под руку.

– Но должна же я занять этих господ! – отвечала помешанная, кидая на служанку гордый и гневный взгляд.

– Чего тут занять! Ведь Кузьма Иванович дожидается.

– Ах, да! – воскликнула Валентина, сейчас же переменив тон, и, уходя к себе, все повторяла: – ах, несчастный! несчастный!

Кузьма Иванович был совершенно вымышленное лицо, но она воображала, что от любви к ней он потонул; его спасли, и он идет к ней. Что б она ни делала, как бы ни дурачилась, достаточно было сказать: «Кузьма Иванович идет к вам!» – она сейчас же отправлялась в свою комнату и дожидалась его. – «Как странно однако, так долго нейдет!» – повторяла она до тех пор, пока не засыпала от усталости.

Гости между тем перешли в гостиную. Стали подавать шампанское, и музыка заиграла туш. Соня в каком-то утомлении села на диван и невольно склонила на его спинку свою чудную головку. Марья Николаевна тоже была рассторена и почти со слезами на глазах, так что Надежда Павловна спросила ее:

– Что с вами?

Достойная эта женщина сначала ничего не отвечала, но потом, взяв Басардину за руку и крепко сжав ее, проговорила:

– Я любила ваше семейство и теперь люблю, но я была ужасно оскорблена!

Из церкви Марья Николаевна взяла к себе в карету Виктора, и что уже у них произошло там – неизвестно, но только и тот как-то совался из стороны в сторону, был заметно чем-то встревожен и наконец, улучив минутку, он остановил мать.

– Мне, маменька, надобно завтра ехать в Петербург.

– Это что такое?

– Отпуск выходит!..

И Виктор в самом деле показал ей отпуск, по которому всего оставалось дня три.

– Что ж здесь-то не останешься на службе? – спросила насмешливо Надежда Павловна.

– Очень нужно, со скотами такими, – возразил Виктор обыкновенным своим тоном. – Мне, маменька, дайте денег-то!

– Дам, – отвечала Надежда Павловна. Она была рада, как бы нибудь, только отвязаться от него.

Свадебный ужин начался баснословной величины рыбой, сопровождаемою соусами из сои и омаров. Повар Яков Назарович, по искусству, был первый в городе. Надежда Павловна, сидевшая на самом почетном месте и глядя на стоявшие в хрустальных вазах дорогие фрукты, на двухпудовые серебряные блюда под кушаньями, на богемский, тонкий как бумага, хрусталь, блаженствовала. Подобной роскоши, оставив дом князя, она уже не видывала. И все это теперь принадлежит ее Соне.

А Петр Григорьевич, напротив, был грустен. Неизвестно, по какому инстинкту, он лучше и яснее, чем его супруга, понимал, что они делали нехорошо, выдавая таким образом дочь: Бог умудряет иногда и младенцев.

Но вот шафера провозгласили последний тост – здоровье какого-то восьмилетнего внука Якова Назаровича; стулья задвигались, и гости стали вставать, прощаться и разъезжаться. Аполлинурия Матвеевна и две другие дамы отвели Соню в спальню.

Яков Назарович прошел туда с другой стороны. Огни в доме погасали, и все стало мало-помалу затихать. Не спал только Виктор, мрачно ходивший по совершенно темной бильярдной; вдруг промелькнула чья-то тень.

Виктор повгляделся. Оказалось, что это был молодой, в халате и с подушкой в руках.

– Что вы? – спросил его Виктор.

Яков Назарович грустно усмехался.

– Прогнала... Плачет... Не велит оставаться мне там! – проговорил он и прошел в свою прежнюю холостую спальню.

– То-то дурак-то! – сказал ему вслед Виктор.

На другой день Надежда Павловна была очень встревожена, во-первых, тем, что у Сони заметно дрожала ручка и голова, и она уже без ужаса, кажется, видеть не могла мужа, а кроме того к ней вдруг прибежала горничная помешанной Валентины.

– У нас несчастье-с, – табакерка барышнина пропала, – объявила она.

– Каким это образом? – спросила Надежда Павловна сначала совершенно покойно. Она перед тем только проводила Виктора, который уехал на почтовых в Петербург.

– Не знаю-с, – отвечала горничная каким-то нерешительным голосом. – Дорогая табакерка очень... Мы им только когда по праздникам и даем из нее нюхать.

Надежда Павловна пошла к Валентине.

– Только и всего... Ко мне пришел этот молодой офицер – прекрасный, прекрасный молодой человек!.. Поцеловал у меня руку!.. Только и всего!.. – рассказывала сумасшедшая.

Надежда Павловна ее больше не расспрашивала и, возвратившись в свою комнату, опустилась на кресла.

– Господи! Только этого не доставало! – воскликнула она.

«А кто в этом виноват?» – шевельнулось в ее мыслях. – «И он, и я, и люди, и Бог!» – произнесла мысленно бедная мать.

Часть вторая

1. Британия

Огромные часы на угловом здании старого университета показывали два часа. Из нового университета, по его наклоненному двору, выходили уже студенты. Внизу юридических аудиторий молодцеватый студент надевал на себя калоши и шинель, а со спиральной лестницы, с самой верхней ее площадки, другой студент, свесив голову за перила, несколько знакомым нам голосом, кричал ему:

– Бакланов, вы в Британию?

– В Британию, – отвечал старый наш приятель.

– И я приду!

– Ну да! – подтвердил Александр, и когда он торопливо проходил через средний подъезд, швейцар Михаила дружелюбно заметил ему:

– Что, не сидится, видно, на лекции-то!

– Дела есть поважней лекций! – отвечал ему Бакланов серьезно.

Михайла усмехнулся ему вслед.

С тех пор, как мы расстались с нашим героем, он значительно возмужал: бакенбарды его подросли, лицо сделалось выразительней. Во всей его походке, во всех движениях было что-то мужественное, смелое... Видно, что он решился смело и бойко идти навстречу жизни.

Перейдя улицу, он, прямо напротив манежа, повернул в трактир с грязноватою вывеской и начал взбираться по деревянной, усыпанной песком лестнице. Это-то и была Британия. Стоявший за прилавком приказчик несколько модно и с улыбкой поклонился ему. Бакланов мотнул ему головой, пройдя залу, повернул в комнату направо. В чистой, белой рубашке полового, с бледным и умным лицом, с подстриженной небольшою бородой и с намавленной головой, почти дружески снял с Бакланова шинель и положил ее на давно, как видно, приуроченное для нее место.

– Бирхман и Ковальский были? – спросил Бакланов, садясь на диван.

– Нет еще-с, не приходили, – отвечал половой.

Бакланов приподнял ногу на стул, при чем обнаружил тончайшие, франтовские шаровары. Его сюртук, с маленьким голубым воротником, тоже сидел на нем щеголевато.

Половой подал ему трубку и растрепанный номер «Репертуара».

– А кто в бильярдной есть? – спросил Бакланов.

– Проскриптский, кажется-с...

– О, чорт с ним! – произнес с досадой Бакланов.

Половой усмехнулся.

– Вчера у них с Варегиным и была же пановщина.

– В чем?

– Да все о душе-с.

– И кто же кого?

Половой пожал плечами.

– Бог их знает: Варегин-то словно бы правильнее на словах говорил.

– Варегин – умница!

– Да-с, – согласился и половой: – господин большого рассудка. Говорят, он из нашего, из простого звания-с.

– Он мещанин. Тогда наследник с Жуковским путешествовал. Ему его и представили: задачи он в голове, самоучкой, решал. Тот велел его взять в гимназию, в два месяца какие-нибудь, читать не умеючи, в третий класс приготовился.

Половой с удовольствием улыбался.

– Что оно, значит, природное-то! – произнес он с каким-то благоговением, а потом, торопливо подав порцию чаю вновь пришедшим посетителям, опять подошел к Бакланову.

– Проскриптский этта-с... может, изволите знать, из думя сюда ходит чиновник... чин тоже получил и ходил к Иверской молебен служить... он на него и напал: «у червяка, говорит, голова, и у вас: червяку отрежь голову и вам, и оба вы умрете!». Так того, бедного, пробрал...

– Пиявка! ко всем льнет!.. – отвечал Бакланов.

Вошли Бирхман и Ковальский. Первый из них был длиннейший немец. Голубые глаза его имели несколько телячье выражение, но очертания лица были довольно тонки, и сквозь белую, нежную кожу просвечивали на лбу тоненькие жилки. Одет он был в нескладный вицмундир и в уродливейшую, казенную, серо-синюю шинель, подбитую зеленой байкой с беленькими лапками. Ковальский, напротив, был маленький, приземистый мужчина, сутуловатый, с широкими, приподнятыми вверх, как на статуе Геркулеса, плечами. Он как пришел, так сейчас же взял с комода щетку и начал ею чистить свой сюртук, полы которого, в самом деле, были страшно перепачканы в грязи.

– Где это ты так вывалялся? – крикнул ему Бакланов.

– Это он меня вез! – отвечал за него и совершенно спокойно Бирхман, садясь на стул к столику против Бакланова.

– Что ж, заказывай по условию-то!.. – произнес угрюмо Ковальский, подходя и тоже садясь около столика.

– Сосисок дай! – сказал Бирхман, по-прежнему равнодушным образом и не повертывая даже головы к половому.

– Если сам будешь есть, так заказывай две порции, – прибавил Ковальский.

– Ну, две! – сказал и на это тем же тоном немец.

Оба эти молодые люди были из Александровского сиротского института и жили вместе в казенном доме. Бирхман, имевший кое-когда деньжонки, нередко, особенно в темные осенние вечера, приезжал в Британию верхом на прицеле и угощал его за это водкой, пивом, кушаньями.

– Как у тебя силы хватает нести такую дубину? – спросил его Бакланов.

– Да ничего бы, – отвечал Ковальский, передернув слегка плечами: – болтается только, не сидит никак крепко.

– Это меня ветром сдувает, – отвечал Бирхман, хотя бы с малейшим следом улыбки на лице, но прочие все, не выключая и полового, засмеялись.

– Чорт знает, что такое! – говорил Бакланов. – А что, господа, – прибавил он: – в пятницу мы в театре?

– В театре, – отвечал равнодушно Бирхман.

– О, разумеется, – подхватил Ковальский. Он надеялся и назад протащить приятеля на своих плечах и получить за это с него билет в раек.

– Надобно, господа, надобно, – говорил Бакланов: – а то этот господин теперь приехал, привез свою мерзавку; эту несчастную гонят. Они дойдут наконец до того, что вытурят и Щепкина, и Садовского, и Мочалова и пришлют нам братьев Каратыгиных.

Бирхман сделал движение головой, которым как бы говорил: «нет, они у меня этого не сделают!».

– Во-первых, – продолжал Бакланов: – эту госпожу надо освистать, – она дрянь, а та – божество, талант.

– Освистать! – произнес Бирхман.

– Можно сделать такую машину... как ее поставишь сейчас промеж колен, подавишь – шикнет, как сто человек! – подхватил Ковальский. Кроме необыкновенной силы, он был еще и искусник на все механические работы.

– Финкель, портной, приходил, – вмешался в разговор половой: – он говорит, если господам, говорит, угодно, я пришлю в театр своих подмастерьев. Один, говорит, так у меня свистит, что лошади на колени падают, и теперь, если ему – старого, говорит платья у меня много – дать ему фрак, и взять только, значит, ему надо билет в кресла.

– Это можно будет, но главное вот что... – продолжал Бакланов, одушевляясь: – этой нашей госпоже надобно у них, канальев, под носом подарить венок или кольцо какое-нибудь брильянтовое... У меня моих собственных сто целковых готовы – нарочно выпустить мужика на волю... Вы, Бирхман, сколько дадите?

– Я дам тоже столько, сколько у меня в то время в кармане будет, – отвечал положительно Бирхман.

– Я дам тоже, сколько у него будет! – подхватил и Ковальский.

– Мы дадим оба, сколько у нас тогда будет, – сказал еще определительнее Бирхман.

– Превосходно! – воскликнул Бакланов. – Венявина я послал за подписным лицом... Там, на первом курсе, пропасть аристократишков поступило... посмотрим, сколько отвоят и поддержат ли университет!

На эти слова его, в комнату, как бы походкой гиены, вошел сутуловатый студент, с несколько старческим лицом и в очках. Кивнув слегка нашим приятелям головой, он пришел и сел у другого столика.

– Дай мне «Отечественные Записки»! – проговорил он пискливым голосом.

Половой молча подал ему.

Между тем у Бакланова, с приходом этого лица, как бы язык прилип к гортани.

– Вы видели ее в «Гризельде»? – продолжал он гораздо тише и как-то не так бойко.

– Видел! – отвечал по-прежнему громко Бирхман.

– Ведь это чорт знает что такое! Летучая мышь! – говорил Бакланов, не возвышая голоса.

В это время явился Венявин – усталый, запыхавшийся; волосы его торчали в разные стороны...

– Как нельзя лучше все устроилось, – говорил онб подходя прямо к Бакланову: – юристы подписались на семьдесят пять рублей, математики тоже изъявили согласие, и медиков человек двадцать будет в театре.

– Ну, умница! паинька! – сказал Бакланов: – дай ему за это чаю! – обратился он к половому.

– Нет, лучше водочки дайте! – говорил Венявин, как бы начиная уж кокетничать, а потом, так как около Бакланова не было места, он сел рядом с Проскриптским. Тот ядовито на него посмотрел.

– Что это вы так хлопчете? – проговорил он своим обычным дискантом.

Венявин, по своему добродушию, сейчас же сконфузился.

– Что делать, нельзя! – отвечал он.

– Хлопочет, как и все порядочные люди! – обратился наконец Бакланов к Проскриптскому, гордо поднимая голову.

– Вы бы уж лучше в гусары шли, – обратился тот опять к Венявину.

– А вы думаете, что нас и гусаров одно чувство заставляет? – перебил его Бакланов.

– У тех оно естественнее, потому что оно чувственность, – возразил Проскриптский.

– Искусством актера, значит, наслаждаться нельзя? – сказал Бакланов.

– Хи-хи-хи! – засмеялся Проскриптский. – Что же такое искусство актера?.. Искуснее сделать то, что другие делают... искусство не быть самим собой – хи-хи-хи!

– В балете даже и этого нет! – возразил Бакланов.

– Балет я еще люблю; в нем, по крайней мере, насчет клубнички кое-что есть, – продолжал насмехаться Проскриптский.

– В балете есть грация, которая живет в рафаэлевких Мадоннах, в Венере Милосской, – говорил Бакланов, и голос его дрожал от гнева.

– Хи-хи-хи! – продолжал Проскриптский: – в риториках тоже сказано, что прекрасное разделяется на возвышенное, грациозное, милое и наивное.

– Ну, пошел! – проговорил Бакланов, стараясь придать себе тон пренебрежения. – А, Варегин! – прибавил он, дружелюбно обращаясь к вошедшему, лет двадцати пяти, студенту, с солидным лицом, с солидной походкой и вообще, всею своею фигурой, внушающему какое-то почтение к себе.

– Gut Morgen! – проговорил пришедшему приветливо и Бирхман, который, во время спора Бакланова с Проскриптом, отчаянно и молча курил, хотя в то же время его нежное лицо то краснело, то бледнело. Не надеясь на свое вмешательство словом, он, кажется, с большим бы удовольствием отдубасил Проскриптового кулаками.

– Здравствуйте! здравствуйте! – говорил между тем Варегин, подавая всем руку. – Здравствуйте уж и вы! – прибавил он, обращаясь к Проскриптову.

– Здравствуйте-с! – отвечал тот и опять постарался засмеяться.

– В грацию уже не верит! – сказал Бакланов, показывая Варегину головой на Проскриптового.

– Во вздор верит, а в то, что перед глазами – нет! – отвечал Варегин, спокойно усаживаясь на стул.

– Что такое верит? Я не знаю, что такое значит верить; или, в самом деле, вера есть уповаемых вещей извещение, невидимых вещей обличение! хи-хи-хи!

– Мы говорим про веру в мысль, в истину, – подхватил Бакланов.

– А что такое мысль, истина? Что сегодня истина, завтра может быть пустая фраза. Ведь считали же люди землю плоскостью!

– Стало быть, и Коперник врет? – спросил уж Варегин.

– Вероятно!

– Но как же пророчествуют по астрономическим вычислениям?

– Случайность!

– Случайность, вы полагаете? – произнес протяжно Варегин.

Студентов, так как уж было около четырех часов, набиралось все больше и больше. Дым густыми облаками ходил по комнате. Меньше всех обнаруживали участие к спору двое студентов-медиков. Они благоразумно велели подать себе, на одном дальнем столике, водки и борщу и только молча показывали друг другу головой, когда, по их расчету, следовало пропустить по маленькой. Около Проскриптового поместились двое его поклонников, один – молоденький студент с впалыми глазами, а другой – какой-то чрезвычайно длинноволосый, нечесаный и беспрестанно заглядывающий в глаза своему патрону. Бирхман с досады пил с Ковальским седьмую бутылку пива. Бакланов тоже ел ростбиф и пил портер.

– Вот ведь что досадно: зачем же вы верите в социализм-то, в кисельные берега и медовые реки? – говорил он Проскриптову.

– Э, верить! Разговоры только это! упражнение в диалектике! – подхватил Варегин.

– Что ж такое диалектика? Человечество до сих пор только и занималось, что диалектикой, – подтвердил Проскриптский.

– А железные дороги тоже диалектика? – спросил Варегин.

– Полезная слесарям и инженерам! Хи-хи-хи! – смеялся Проскриптский.

– Но ведь, чорт возьми, они связывают людей, соединяют их! – воскликнул Бакланов.

– А зачем человечеству нужно это? Дикие, живущие в степях, конечно, счастливее меня! – возразил, как бы с наивностью, Проскриптский.

– Именно! – подхватил, почему-то вдруг одушевившись, студент с впалыми глазами.

– Ну да, разумеется! – подтвердил за ним и длинноволосый.

Венявин, выпивший две рюмки и совсем от этого захмелевший, толковал Ковальскому:

– Я люблю науку... люблю...

– Отчего же вы из римского права единицы получаете? – окрысился на него Проскриптский.

– Ну да, что ж такое! И получаю, а все-таки люблю науку! – говорил Венявин.

В другом месте между кучками студентов слышалось:

– Редкин чудо как сегодня говорил о колонизациях.

– Что ж, в чем это чудо заключалось? – обратился вдруг к ним Варегин.

– Да он говорил в том же духе, как и Грановский! – отвечали ему.

Варегин усмехнулся.

– Тех же щей, да пожиже влей! – произнес он.

– Грановский душа-человек, душа! – подтвердил Венявин.

– Старая чувствительная девка! – сказал Проскриптский.

Варегин при этом только посмотрел на него.

Бакланов, которому надоели эти споры, встал и, надев шинель, проговорил:

– Кто ж, господа, будет в театре?

– Мы! и мы! – отозвались почти со всех сторон, но потом вдруг мгновенно все смолкло.

– Третьев поет! – воскликнул Венявин и, перескочив почти через голову Ковальского, убежал.

Бакланов пошел за ним же.

В бильярдной они увидели молодого, белокурого студента, который, опершись на кий и подобрав высоко грудь, пел чистым тенором:

«Уж как кто бы, кто моему горю помог».

Слушали его несколько студентов. Венявин шмыгнул с ногами на диван и превратился в олицетворенное блаженство.

В соседней комнате Кузьма (знакомый нам половой), прислонившись к притолоке, погрузился в глубокую задумчивость. Прочие половые также слушали. Многие из гостей-купцов не без удовольствия повернули свои уши к дверям. Не слушал только – Проскриптский, сидевший уткнув глаза в книгу, и двое его почитателей, которые, вероятно, из подражания ему, вели между собою довольно громкий разговор.

Начали наконец засвечать огни.

Бакланов пошел домой и на лестнице встретился с Проскриптским.

– И вы уходите? – проговорил было он ему довольно вежливо.

– Да, ухожу-с! – отвечал тот обыкновенным своим смешком.

Сойдя с лестницы, они разошлись: Бакланов пошел к Кремлевскому саду, а Проскриптский на Арбат.

– Кутейник! – проговорил себе под нос Бакланов.

– Барченоч! – прошептал Проскриптский.

А из трактира между тем слышалось пение Третьева: «Руки, ноги скованы, его красная рубаха вся-то поизорвана!»

2. Милое, но нелюбимое существо

Луна, точно гигантов каких, освещала кремлевские башни. Дорожки сада она покрывала белым светом. Еще не совсем облетевшие кусты деревьев представлялись черными кучами. Бакланов шел быстро и распустив свою шинель. Его благородная кровь (предок Александра, при Иоанне Грозном, был повешен; другой предок, при Петре, отличился под Полтавой, а при Екатерине Баклановы служили землемерами), – его юношеская кровь легко и свободно текла в здоровом теле. Пройдя сад, он повернул в один из переулков и вошел в калитку небольшого деревянного домика. Эта была его квартира, которую он нанимал, с самого своего поступления в университет, у пожилой польки-вдовы, пани Фальковской. Если уж непременно необходимо что-нибудь сказать о свойстве этой дамы, то, во-первых, она очень любила покушать.

– Цо то значе, яко мало едзо млоды людзи! – говорила она, относя эти слова к посто-яльцу и к дочери, и если в супе оставался хоть один маленький кусочек мяса, она его сейчас же вытаскивала и доедала.

После обеда она любила заснуть и при этом так засыпала свои маленькие глазки, что, встречаясь в таком виде с Баклановым, даже совестилась.

– Ой, не глядите, не глядите, стыдно! – говорила она, закрывая лицо руками и отвер-тываясь.

На каждом окне у нее были цветы и канарейки, а по всему дому, не включая и сеней, постланы ковры.

Бакланов, собственно, занимал две комнаты. Одна из них была убрана стульями и маленьким фортепьяно; а в другой стояли в порядке: прибранный письменный стол, перед ним вольтеровское кресло, по стене мягкий, покойный диван, на котором лежала прелестно вышитая шерстями подушка, подарок хозяйкиной дочери, панны Казимиры, о которой я упоминал уже в первой части моего романа. В углу комнаты, на нарочно постланной под-стилке, лежала лягавая собака, которая, при появлении хозяина, сейчас же вскочила и начала прыгать.

– Здравствуй, Пегасушка, здравствуй! – говорил Бакланов, раскланиваясь перед ней.

Собака тоже перед ним раскланивалась, опускаясь на передние лапы и слегка полаявая.

Благообразный лакей, которого Александр нарочно выбрал для себя из дворовых маль-чиков, снял с него сюртук, подал ему надеть вместо него черный стеганный архалук и зажег на столе две калетовские, в серебряный подсвечниках, свечи.

Вообще, во всем этом обиходе домашней жизни молодого человека была заметна поря-дочность и некоторое стремление к роскоши и щегольству.

– Александр Николаевич, вы пришли? – послышался из соседней комнаты женский голос.

– Пришел-с.

– Можно к вам?

– Сделайте одолжение.

Дверь отворилась, и в комнату вошла девушка лет девятнадцати, скромная на вид, не красавица собой, но и не дурная, довольно со вкусом одетая в холстинковое платье: это была панна Казимира. Она сейчас же села на вольтеровское кресло. Лягавая собака не замедлила подойти к ней. Казимира приласкала ее.

– Что вы не приходили обедать?.. Мамаша ждала, ждала вас, – говорила она.

– А теперь она спит?

– Спит...

– Вверх брюшком?

– Да, – отвечала Казимира с улыбкой: – но где же вы были целый день? – прибавила она.

– Возился все с театром, – отвечал Бакланов.

– Ну, что это! Что вам за охота! – проговорила девушка и покачала головой.

– Как, что за охота! Надобно же показать, что мы дорожим нашими талантами, а то это проклятое чиновничество чорт знает что наделает! – отвечал Бакланов, беря лежавшую на диване красную феску и надевая ее себе на голову.

Казимира невольно потупилась. Молодой человек, в этой надетой несколько набекрень красной шапочке, которая еще более оттеняла его черные, вьющиеся волосы, был очень красив.

Он уселся на диване в небрежной позе.

– Вы, верно, влюблены в эту Санковскую? – начала опять Казимира.

– Хм... – усмехнулся Бакланов. – Вы, кажется, должны хорошо знать, что я ни в кого не могу быть влюблен, – прибавил он, бросая на девушку выразительный взгляд.

Существующие в настоящее время между молодыми людьми отношения были довольно странны: Казимира влюбилась в Бакланова с первых же дней, как он поселился у них. Со своею богатою обстановкой, со своим крепостным лакеем, он, умный, добрый и красивый, казался ей каким-то миллионером и в то же время полубогом, более даже чем Венявину. Бакланов, со своей стороны, особенно после его неудачной любви к Соне, тоже шутил с ней... любезничал... смеялся... Все это, как бы напитанные ядом стрелы, входило в сердце пылкой панны. Раз – это было в полутемноватом московском гостином дворе, где они, в сопровождении старухи Фальковской, ходили кое-что закупать, Казимира шла под руку с Баклановым и все старалась оставить мать позади, а потом вдруг крепко-крепко оперлась на его руку.

– Скажите мне, – говорила она: – что это такое со мной?.. С тех пор, как вы у нас живете, я так счастлива, так всех люблю!..

Бакланов на это только усмехнулся.

– Неужели я в вас влюблена? – прибавила Казимира.

Александр покраснел.

– Послушайте, – начал он, голос его слегка дрожал: – вы чудная, прекрасная девушка, и я хочу быть в отношении вас благороден: не любите меня... я люблю другую... – проговорил он и вздохнул.

– Кого же? – спросила Казимира, совсем уничтоженная.

– После... после вы все узнаете, – отвечал Александр и осатновился, чтобы подождать старуху Фальковскую.

После это настало невольное. В одни сумерки они остались вдвоем. Казимира, под влиянием своих тяжелых дум, сидела тихо за работой, а Бакланов ходил взад и вперед по комнате.

– Вы видели у меня эту вещь? – заговорил он, останавливаясь перед ней и вынимая из-под жилета висевший на груди его маленький медальон.

– Что такое тут? – спросила Казимира, устремляя на него невольно нежный взор.

– Посмотрите! – И Бакланов раскрыл медальон.

Там хранилась знакомая нам записочка Сони. Он бережно вынул ее и подал Казимире.

– Это от той, которую вы любите? – проговорила она, более машинально прочитав написанное.

– Да, – отвечал Бакланов.

– Зачем же она так пишет? – спросила, после короткого молчания, Казимира и точно при этом спряталась в свои кресла.

– Что делать! Обстоятельства!.. Жизнь!..

– О, какие могут быть для этого обстоятельства. – воскликнула Казимира.

В голосе ее слышалась грусть и насмешка.

– А такие... – отвечал Бакланов и не закончил.

– Вы и теперь еще переписываетесь? – спросила Казимира. Лицо ее при этом побледнело.

– Нет.

– Но чем же все это должно кончиться?

– Не знаю! Ох, хо-хо-хо! – произнес Бакланов со вздохом.

Разговор, в этом роде, опять в непродолжительном времени возобновился между молодыми людьми и стал повторяться довольно часто. Александр чувствовал какое-то особенное наслаждение говорить с Казимирой об ее сопернице.

В настоящий вечер, быв особенно в припадке чувствительности, он не преминул заговорить о том же.

– Кто раз любил хорошо, тому долго не собраться с силами на это чувство! – произнес он.

– Вы каких лет ее полюбили? – спросила Казимира. Она, в свою очередь, тоже находила какое-то болезненное удовольствие слушать Александра, когда он рассказывал о любви своей к другой, хотя по временам это становилось ей очень и очень тяжело.

– Почти что с детских лет, – отвечал Бакланов, разваливаясь на диване. – Мы росли с ней вместе и, разумеется, как дети, играли в разные игры, между прочим и в свадьбы: будто я муж, она жена... заберемся в темный угол и сидим там...

Казимира склонила голову на руку, и, кажется, вся кровь прилила ей к лицу.

– Потом, – продолжал Бакланов: – я жил с матерью в деревне; только раз гулял в поле, прихожу домой, говорят: Басардины приехали; вхожу и вижу, вместо маленькой девочки – совсем сформировавшуюся, и не с двумя, а с одною уже косою, с длинными, белыми, чудными ручками!.. (При этом он невольно взглянул на исколотые иголкою и слегка красноватые пальцы Казимиры). Мне так как будто бы что-то в сердце ударило... чувство настоящее заговорило.

– Да, понимаю, – отвечала Казимира со вздохом, припоминая собственное чувство к Александру.

– Ну, потом, я учился в гимназии, а она в пансионе, и ездила к нам... В доме у нас огромная зала... ходим мы с ней, бывало, и она все меня спрашивает: кто мой идеал? – Бакланов так при этом одушевился, что даже привстал. – Я говорю: – «Вы его знаете, видали». – «Где?.. Когда?..» – «В зеркале», говорю!

Казимира в это время держала свою голову обеими руками. О, для чего это счастье не выпало на ее долю.

– Она сконфузилась, – говорил Бакланов: – а в то же время было стихотворение: «Не говори ни да ни нет!». Я уж к ней стал приставать: «да или нет?» – спрашиваю. – «Да», – говорит.

Казимира вздохнула.

– Ну, и что же?

– А то же, что были минуты полного, безумного счастья!

– Как, неужели дошло до конца? – проговорила с некоторым удивлением Казимира.

– Да!

Бакланов так привык по этому случаю прилыгать, что даже и сам не замечал, когда делал это.

– Как же она в таком виде вышла за другого? – проговорила Казимира, уже вставая. Сердце ее не в состоянии было долее переносить эту муку.

– Вы читали, как она вышла, – отвечал Бакланов. – Но погодите, постойте! куда же вы? – прибавил он, беря Казимиру на руку.

Та отвернулась от него, как бы затем, чтоб он не видел ее лица.

– Посидите! – сказал он и посадил ее почти силой на диван.

– Нет! пустите, пустите! – проговорила вдруг Казимира и пошла: на глазах ее видны были слезы.

Бакланов посмотрел ей задумчиво вслед.

– Будь покойна, мое кроткое существо... я не погублю тебя! – произнес он тоном самоотвержения.

Но в самом деле Казимира просто не нравилась ему своей наружностью.

3. Андреянова на московской сцене

К подъезду Большого театра, почти непрерывной цепью, подъезжали кареты. По коридорам бегали чиновники, почему-то почище и посвежее одетые. Зала театра, кроме люстры, была освещена еще двумя рядами свеч. Из директорской ложи виднелись полные и гладко выбритые физиономии. Декорации, изображавшие какой-то трудно даже вообразимый, но все-таки прелестный и полный фантастических теней вид, блистали явною новизной. Кордебалет, тоже весь одетый до последней ниточки в свежий газ и трико, к величайшему наслаждению сидевшего в первом ряду, с отвислою губою, старикашки, давно уже поднимал перед публикой ноги и, остановившись в этой позе, замирал на несколько минут, а потом, вдруг повернувшись, поднимал ножки перед стоявшим в мрачной позе героем балета, чтоб и его не обидеть; затем, став на колена и раскинув над собой разноцветные покрывала, изображал как бы роскошнейший цветник.

Бакланов и Венявин, оба в мундирах, в белых перчатках и при шпагах, сидели во втором ряду. Подмастерье от Финкеля, хотя и во фраке, но сидел на купоне. В райке, с правой стороны, виднелись физиономии Бирхмана и Ковальского, а с левой – сидела почти целая шеренга студентов-медиков. Математики наняли себе три ложи. Из молоденьких юристов человек десять сидели в креслах. Наконец примадонна, высокая, стройная, не совсем только грациозная, вылетела. Костюм ее был прелестен. Как-то порывисто вытянув свою правую ногу назад, она наклонилась к публике, при чем обнаружила довольно приятной формы грудь, и стала на другой ноге повертываться. В директорской ложе ей слегка похлопывали. В публике сначала застучали саблями два офицера, имевшие привычку встречать аплодисментами всех примадонн. Хлопали также дежурный квартальный и человека три театральных чиновника, за которыми наконец грохнуло и купечество, когда примадонна очень уже высоко привскочила. Заговорщики еще себя сдерживали: между ними положено было дать ей протанцевать целый акт и потом, как бы убедившись в ее неискusstве, праявить свое мнение.

– Бум! бум! бум! – ревели барабаны. Примадонна делал частенькие, мелкие па; потом, повернувшись, остановилась лицом перед публикой, развела руками и ангельски улыбнулась; наконец, все больше и больше склоняясь, скрылась вглубь сцены. Ей опять захлопали. Заговорщики все еще продолжали не заявлять себя, но когда кордебалет снова высыпал со всех сторон на авансцену, делавшуюся все темнее и темнее, потолок тут, раскинувшись потом на разнообразнейшие группы, и когда посреди их примадонна, выбежав с жен-премьером, поднялась на его руках в позе улетающей феи, и из передней декорации, для произведения большего эффекта, осветили ее электрическим светом, – Ковальский в райке шикнул в свою машинку на весь театр. Его поддержали шиканьем человек двадцать медиков, а из купона раздался свист подмастерья. Частный пристав бросился туда.

– Кто это, господа, тут свистит? – сказал он.

– Это, должно быть, вы сами свистнули; здесь никто не свистел, – отвечал ему господин совершенно почтенной наружности.

Частный пристав, очень этим обидевшись, вышел в коридор.

– Пошлите пожарных на лампу, чтобы хлопали там! – крикнул он квартальному.

– Примадонне дурно! опустите занавес! – слышалось на сцене за декорациями.

– Нет, ничего, дотанцует! – возражал другой голос, и примадонна, в самом деле, хотя и очень расстроенная, но дотанцевала, пока не унесена была слетевшими духами на небо. Занавес упал. Пожарные еще похлопывали над люстрой. Публика хлынула в кофейную; слышались разнообразнейшие толки.

– Помилуйте, за что это? У ней есть грация и уменье! – толковал театральный чиновник.

– Ничего у нее нет, ничего! – возражал ему запальчиво Бакланов.

– Все есть, все! – повторил чиновник.

– Может-быть, все, только не то, что надо, – отвечал ядовито Бакланов.

В коридоре полицеймейстер распекал частного.

– Студенты, помиуйте, студенты! – оправдывался тот.

– Начальство их надо сюда! – говорил полковник, и ко второму акту в задних рядах показался синий вицмундир суб-инспектора.

Бакланов и Венявин торжествовали.

Примадонна, оскорбленная, огорченная и взволнованная, делал все, что могла. Танец ее был страстный: в каком-то точно опьянении, она то выгибалась всем телом и закатывала глаза, то вдруг с каким-то детским ужасом отбегала от преследующего ее жен-премьера, – но агитаторы были неумолимы: в тот самый момент, когда она, вняв мольбам прелестного юноши, подлетела к нему легкою птичкой – откуда-то сверху, из ложи, к ее ногам упала, громко звякнув, черная масса. Примадонна с ужасом отскочила на несколько шагов. Жен-премьер, тоже с испугом, поднял перед публикой брошенное.

– Мертвая кошка! – произнес чей-то голос на креслах.

Общий хохот раздался на всю залу.

– Браво! Мертвая кошка! Браво! – кричал неистово в креслах Бакланов, так что все на него обернулись.

– Мертвая кошка! – повторял за ним Венявин.

С примадонной в самом деле сделалось дурно. В директорской ложе совершенно опустело: оттуда все бросились наверх, откуда была брошена мертвая кошка.

– Мертвая кошка! – продолжал кричать Бакланов.

– Пожалуйте к суб-инспектору, – сказал подошедший к нему капельдинер.

– Убирайся к чорту! – отвечал ему Александр.

На сцене между тем бестолково прыгал кордебалет. Суб-инспектор, пробовавший было вызвать по крайней мере хоть кого-нибудь из математиков, сидевших в ложах в бель-этаже и перед глазами всей публики хохотавших, но не успев и в том, поскакал на извозчике в университет, доложить начальству. Соло за примадонну исполнила одна из пансионеров.

Когда занавес упал, Бакланов сделал знак Казимире и пани Фальковской, сидевшим в третьем ярусе и для которых он нарочно нанимал ложу, а потом, мотнув головой Венявину, гордо вышел из залы.

Через несколько минут с ним сошлись в сенях его дамы, и все они поехали в карете домой. Пани Фальковская, расфранченная и очень довольная, что побывала в театре, всплескивая коротенькими ручками, говорила:

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.